

ISSN 0132-1366

АКАДЕМИЯ НАУК
СССР

Советское
СЛАВЯНОВЕДЕНИЕ

3

1986



ИЗДАТЕЛЬСТВО
• НАУКА •

Советское СЛАВЯНОВЕДЕНИЕ

ВЫХОДИТ 6 РАЗ В ГОД

МАЙ — ИЮНЬ

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Марков Д. Ф.</i> Некоторые итоги и перспективы исследований Института славяноведения и балканистики АН СССР в свете решений XXVII съезда КПСС	3
<i>Копашева М. И.</i> Изменения социально-классовой структуры общества ЧССР в 70-е годы	8
<i>Гришина Р. П.</i> К вопросу о формировании государственно-монополистического капитализма в буржуазной Болгарии	21
<i>Зубачевский В. А.</i> Борьба между Германией и Польшей за Поморье в ноябре 1918 — январе 1920 года	34
<i>Ронин В. К.</i> Славяне в латинской литературе VII — начала IX веков	43
<i>Цигенгайт Г.</i> Теоретические аспекты изучения германо-славянских культурных отношений в период Просвещения и романтизма в контексте процессов внутриевропейской рецепции	55
<i>Иванов Вяч. Вс.</i> Славянская пора в поэтическом языке и поэзии Хлебникова	62
<i>Прогорова С. М.</i> Изучение диалектного синтаксиса славянских языков методом лингвистической географии	72

СООБЩЕНИЯ

<i>Калашишникова Н. Ю.</i> К вопросу о деятельности некоторых англо-американских центров по изучению новейшей истории Румынии	79
---	----

ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

<i>Венедиктов Г. В.</i> Ю. Венелин и А. Пушкин	83
--	----

ОБЗОРЫ И РЕЦЕНЗИИ

<i>Муртузалиев С. И.</i> Ц. Славчева. Историческата българистика в чужбина. 1944—1980. Библиографски справочник	93
---	----

3

1986

ЖУРНАЛ
ОСНОВАН
В 1965
ГОДУ

МОСКВА

<i>Мандрюк И. А.</i> E. Palotás. Az Osztrák-Magyar Monarchia balkáni politikája a berlini kongresszus után. 1878—1881	94
<i>Грабови У.</i> Quellen und Studien zur Geschichte Osteuropas. Bd. XXVI	97
<i>Дмитриев М. В.</i> Запаско Я. П., Ісаевич Я. Д. Пам'ятки книжкового мистецтва. Каталог стародруків, виданих на Україні. Кн. 1—2	98
<i>Полинская М. С.</i> L. Dezsö. Studies in Syntactic Typology and Contrastive grammar. L. Dezsö. Typological Studies in Old Serbo-Croatian Syntax	99
<i>Нещименко Г.</i> Olga Martincová. Problematika neologismů v současné spisovné češtině	104

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

<i>Т. М.</i> Юбилейные чтения, посвященные 70-летию со дня рождения Л. Б. Валева	108
<i>Агапкина Т. А.</i> Рабочее совещание по «Этнолингвистическому словарю славянских древностей»	109
<i>Норман Б. Ю.</i> IV симпозиум по белорусско-болгарским языковым параллелям	110

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

И. И. КОСТЮШКО (главный редактор), В. А. ДЬЯКОВ,
 В. В. ЗЕЛЕНИН (зам. главного редактора), В. И. ЗЛЫДНЕВ,
 В. Г. КАРАСЕВ, Д. Ф. МАРКОВ, А. И. НЕДОРЕЗОВ, С. В. НИКОЛЬСКИЙ,
 Ю. А. ПИСАРЕВ, Л. Н. СМЕРНОВ, Н. И. ТОЛСТОЙ (зам. главного редактора),
 Я. Б. ШМЕРАЛЬ

Адрес редакции: 117312, Москва, ул. Вавилова, д. 37а

Телефон 124-98-11

Зав. редакцией *Е. В. Пономарёва*

НЕКОТОРЫЕ ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИССЛЕДОВАНИЙ ИНСТИТУТА СЛАВЯНОВЕДЕНИЯ И БАЛКАНИСТИКИ АН СССР В СВЕТЕ РЕШЕНИЙ XXVII СЪЕЗДА КПСС

Мы вступили в первый год двенадцатой пятилетки, год XXVII съезда КПСС, определившего надолго задачи и планы страны. Глубокое впечатление оставляет характерная для съезда деловая творческая атмосфера — дух трезвого анализа сложных проблем, бескомпромиссной критики недостатков. Политический доклад ЦК, новая редакция Программы партии и другие документы съезда являются не только источником теоретического знания, они нацеливают на практические выводы. Курс на интенсификацию труда, на повышение эффективности, качества и личной ответственности — это касается каждого из нас, на каком бы участке мы ни находились.

Коллектив Института славяноведения и балканистики АН СССР, как известно, занимается изучением истории, литературы, языков и истории культуры народов Центральной и Юго-Восточной Европы, т. е. практически всех европейских социалистических стран. И совершенно естественно, что задачи, поставленные съездом перед советскими обществоведами, воспринимаются нами как конкретная программа действий, ибо исследование переходного периода от капитализма к социализму, построение основ социализма и вступление в этап развитого социалистического общества, проблематика становления социалистической культуры в европейских социалистических странах составляет одно из важнейших направлений исследовательской работы нашего Института.

Для того, чтобы яснее и четче представить себе перспективу будущих исследований, необходимо оглянуться на пройденный путь, оценить результаты работы коллектива в прошлой пятилетке и извлечь необходимые уроки как из позитивного опыта, так и из упущений и недостатков.

На протяжении последних лет широко утвердилось важнейшее направление работы Института — сравнительно-исторические и междисциплинарные исследования истории и культуры народов Центральной и Юго-Восточной Европы с древнейших времен до наших дней. Особое внимание при этом уделяется периоду строительства социализма. Актуальность проведения таких исследований подчеркнута и в новой редакции Программы КПСС. Они открывают возможности для аргументированного показа диалектики общего (типологии процессов) и национально-специфического в социально-экономическом развитии разных стран и народов. Созданы значительные обобщающие труды: в 1982 г. вышла вторым изданием коллективная монография «Великий Октябрь и революции 40-х годов в странах Центральной и Юго-Восточной Европы. Опыт сравнительного изучения социально-экономических преобразований в революционном процессе», раскрывающая общие закономерности и специфические особенности революций в социалистических странах Европы, новые черты революционного процесса 40-х годов нашего века. В 1980—1981 гг. вышел

в свет коллективный труд в двух томах «Освободительные движения народов Австрийской империи», в котором мало, а иногда искаженно освещенные сложные проблемы взаимоотношений многих народов и народностей в многонациональном государстве исследованы с марксистских позиций. Методология данного труда и примененная в нем методика как позитивный опыт могут быть использованы при изучении других сложных территориально-политических комплексов.

Значительным завоеванием Института является достигнутый уровень интеграции различных наук в разработке сложных многосоставных комплексов социально-политических явлений. Нам удалось объединить ученых разных специальностей при изучении проблем этногенеза славянских и балканских народов, эпохи национального возрождения, строительства социализма. Так, труд «Развитие этнического самосознания славянских народов в эпоху раннего средневековья» (1982), получивший признание в науке, написан совместно историками и лингвистами, опиравшимися также на данные археологии, этнографии, антропологии. Междисциплинарным подходом характеризуется работа по созданию этнолингвистического словаря славянских народных древностей в нескольких томах, призванного обобщить и систематизировать громадный, накопленный в этой области славистикой XIX — XX вв. материал. Составной частью в исследования по проблемам этногенеза входят и другие лингвистические работы, выполненные по тематике балтославянского и балканского ареалов в прошлом и настоящем, карпатского языкознания и т. п. В Институте в рамках специальной серии исследований «Центральная и Юго-Восточная Европа в эпоху перехода от феодализма к капитализму. Проблемы истории и культуры» по единому плану, системно исследуется учеными разных специальностей комплексная проблематика национального возрождения славянских народов. Создан цикл крупных коллективных трудов, таких как «Формирование наций в Центральной и Юго-Восточной Европе. Исторический и историко-культурный аспекты» (1981), «Социальная структура общества в XIX в. Страны Центральной и Юго-Восточной Европы» (1982). В этой же серии вышли в свет два литературоведческих исследования: «Литература эпохи формирования наций в Центральной и Юго-Восточной Европе. Просвещение. Национальное возрождение» (1982) и «Развитие литературы в эпоху формирования наций в странах Центральной и Юго-Восточной Европы: романтизм» (1983). Специалистами по истории культуры создан труд «Концепции национальной художественной культуры народов Центральной и Юго-Восточной Европы» (1984).

Опыт Института славяноведения и балканистики АН СССР в области сравнительно-исторических и междисциплинарных исследований, методология их организации и проведения обобщены в нашей книге «Сравнительно-исторические и комплексные исследования в общественных науках. Из опыта изучения истории и культуры народов Центральной и Юго-Восточной Европы» (1983).

Особо следует отметить дальнейшее расширение и углубление исследований социалистического развития стран Центральной и Юго-Восточной Европы. К 40-летию победы над фашизмом вышли в свет книги: «СССР и страны народной демократии. Становление отношений дружбы и сотрудничества» (подготовлен совместно с Институтом истории АН СССР) и «Народные и национальные фронты в антифашистской освободительной борьбе и революциях 40-х годов» (1985).

Говоря о результатах наших исследований в прошлую пятилетку, я, разумеется, не имею возможности давать полный перечень всего сделанного. Но все же хотелось бы отметить еще некоторые труды по проблемам современности. Культурологи издали, на мой взгляд, интересную теоретико-методологическую книгу «Культура в общественной системе социализма» (1984). Литературоведы были заняты разработкой методологии изучения литератур социалистических стран послевоенного периода, закономерностей становления общности социалистических литератур, качественного обогащения теории и практики социалистического

реализма на современном этапе. Ими создан ряд трудов, рассматривающих отдельные национальные социалистические литературы в контексте других социалистических литератур. Вместе с тем дана обобщающая характеристика всего литературного процесса в странах социализма в период после народно-демократических и социалистических революций («Проблемы развития литератур европейских социалистических стран. 1945—1980» (1985)).

Важным итогом деятельности Института является работа над серией однотомников по истории европейских социалистических стран, адресованной широкому советскому читателю. Уже написаны и сданы в печать три книги: «История Болгарии», «История Румынии», «История Чехословакии», в планах на ближайшее будущее — последующие тома.

Таким образом, сделано в одиннадцатой пятилетке немало, есть у нас значительные успехи. Но, к сожалению, не на всех участках работа шла слаженно и результативно. Были срывы плановых трудов по возрождению и по XX веку; не выполнены своевременно работы по обобщению процессов формирования и развития мировой социалистической системы, по строительству основ социализма. Причина — недостатки планирования, отсутствие четкой организации работы и должного контроля на протяжении всего периода подготовки труда. У нас все еще не изжитая плохая привычка: переносить центр тяжести работы на конец планового срока. В результате нередки случаи запаздывания, а то и полное невыполнение плана. И, конечно же, все это отрицательно сказывается на работе в последующий период, когда коллективу одновременно с выполнением нового планового задания приходится подтягивать «хвосты» из предыдущего плана. Нам нужно сделать необходимые выводы, чтобы избежать повторения ошибок, добиться ритмичности с самого начала новой пятилетки.

Коллектив Института уже выработал свой новый пятилетний план. Он включает ряд важнейших научных направлений, среди которых назовем прежде всего изучение опыта социалистического строительства в странах Центральной и Юго-Восточной Европы. Задачи такого изучения подчеркнуты в документах XXVII съезда КПСС. В Политическом докладе съезду сказано: «Сегодня особенно важно на основе развития — и не одной, а ряда стран — проанализировать характер социалистического образа жизни, осмыслить процессы совершенствования демократии, методов управления, кадровой политики. Бережное, уважительное отношение к опыту друг друга, применение его на практике — огромный резерв социалистического мира» [1, 1986, 26 II].

В двенадцатой пятилетке совместно с учеными Института истории СССР АН СССР начата разработка темы «Общие закономерности и специфические особенности переходного периода в СССР и европейских социалистических странах». Планируется создание двухтомного труда (силами специалистов Института будет подготовлен том о переходном периоде от капитализма к социализму в европейских социалистических странах), в котором в сравнительно-исторических аспектах будет исследована диалектика общего и особенного, ставится задача обобщения и оценки накопленного уже в целом ряде стран исторического опыта. В других работах намечено изучение происходящих сегодня в европейских странах социализма процессов, связанных с развитием социально-классовых структур, формированием нового, социалистического образа жизни. В исследовании различных этапов социалистического строительства историки идут вместе с культурологами. Их объединение ведет к созданию трудов, выполняемых совместно по единому плану; в то же время группа ученых изучает социалистическую культуру как особый феномен, сам по себе сложный, комплексный.

Проблемы духовного развития социалистического общества являются предметом изучения и наших литературоведов. В прошлой пятилетке они как бы заложили фундамент под новое здание, превосходящее все прежние, и теперь включили в план большой двухтомный труд «История литератур европейских социалистических стран. 1945—1985 гг.». Этот,

как впрочем и другие крупные труды, требует четкой организации и контроля, уже начиная с первого планового года.

В целях улучшения координации и взаимосвязи ведущихся по проблематике социализма исследований общепедагогического, историко-международного и историко-культурного профиля в Институте создан Отдел истории и культуры стран Центральной и Юго-Восточной Европы периода социализма, в который входит ряд научных подразделений. Это призвано существенно повысить организацию и эффективность ведущихся исследований, способствовать решению задач, поставленных перед общественными науками XXVII съездом КПСС.

Новый пятилетний план Института включает еще ряд других направлений и проблем. Определяя их, мы стремились исходить из их актуальности, из современного интереса к ним и потребностей их освещения. Это касается истории всех периодов изучаемых нами стран и народов, в том числе таких отдаленных от нас, как античность и средневековье.

В новой редакции Программы партии, утвержденной XXVII съездом КПСС, в разделе о науке сказано: «Должны получить более широкое развитие такие формы организации науки, которые обеспечивают междисциплинарное исследование актуальных проблем, необходимую мобильность научных кадров, гибкость структуры научных учреждений, исследований и разработок» [1, 1986, 7 III].

Новый пятилетний план Института предполагает дальнейшее развитие сравнительно-исторических и комплексных исследований как по средневековью, так и по новой истории, в особенности по периоду национального возрождения славянских народов. Он включает ряд обобщающих работ по проблемам формирования наций, национальных культур; в нем ставится задача характеристики таких, например, комплексных историко-культурных институтов, как славянские Матицы, внесена в план подготовка двухтомных «Очерков истории культуры народов Центральной и Юго-Восточной Европы в XVIII — XIX вв.».

Важный раздел нашего плана — балканистика. В последние годы это направление утверждает себя значительными исследованиями. Речь идет прежде всего о большом цикле работ по изучению международных отношений на Балканах. (Вышедшие в свет и находящиеся в процессе подготовки книги представляют собой в сущности систематическую историю этих отношений за 100 с лишним лет — с 1815 до 1918 г.). Все более весомое значение приобретает продолжающееся издание ежегодника «Балканские исследования». Понимая балканистику (подобно славистике) как комплекс научных дисциплин, мы стремимся в этой области ко все большей интеграции разных наук — задача, которую нам все еще предстоит решать.

Будет продолжена работа по истории славяноведения. После вышедшего из печати словаря «Славяноведение в дореволюционной России» (1979) интенсивно готовится к изданию библиографический словарь советских славистов. Ведется работа над новыми выпусками серии «Славяноведение и балканистика за рубежом». Мы в известной степени преодолели имевшиеся в Институте недостатки в историографической деятельности. В наших планах — анализ и критика буржуазных взглядов на историю и историю культуры народов Центральной и Юго-Восточной Европы, особенно в эпоху социализма, по которой чрезвычайно много нагромождено разного рода фальсификаций. К этому нас непосредственно обязывают решения XXVII съезда КПСС: в «Основных направлениях экономического и социального развития СССР на 1986—1990 годы и на период до 2000 года» перед общественными науками, в частности, стоит задача «активно разоблачать буржуазную и реформистскую идеологию, ревизионизм и догматизм в любых их формах» [1, 1986, 9 III].

Вполне естественно в пятилетнем плане Института большое место занимает изучение связей России и Советского Союза с народами Центральной и Юго-Восточной Европы — связей исторических, общекультурных, литературных, языковых. По-своему, в своих специфических аспектах они являются предметом изучения во всех научных подразделениях.

Связи, о которых идет речь, уходят корнями вглубь истории, они нередко играли важную роль в судьбах народов изучаемого региона. Известно, что, скажем, балканские народы были освобождены от многовекового османского ига и обрели национальную независимость в огромной степени в результате русско-турецких войн, расшатывавших османское владычество, способствовавших подъему национально-освободительной борьбы угнетенных народов, а в отдельных случаях и объективно выполнивших задачи буржуазно-демократической революции. Поэтому тема «Россия и Балканы» была и ранее в наших планах, значит она и теперь. Что же касается связей в современный период, то их характер — принципиальная новизна и интенсивность — определяется характером нового исторического образования — мировой системы социализма, в которую Советский Союз входит как ее составная часть.

Именно исторические, культурные и другие связи СССР со странами социализма в немалой степени служат основой нашего сотрудничества с учеными социалистических стран. Характерны, например, фундаментальные многотомные публикации документов и материалов по советско-болгарским, советско-польским, советско-чехословацким, тематические публикации по советско-югославским отношениям. Работа эта начата давно, продолжается и теперь. Ее практическое значение очевидно: встречи ученых двух стран, товарищеское обсуждение разных, в том числе спорных вопросов, стремление на основе объективного толкования документов придти к общим выводам — все это, конечно, способствует укреплению дружественных отношений между нашими странами.

Институт ведет сотрудничество по многим другим темам — по 35-и на двусторонней и по 9-и на многосторонней основе. Это один из весьма ответственных участков, требующий особой заботы и внимания.

Пятилетний план Института включает не только внутриинститутские работы, а и, например, труды, ведущиеся на базе Института всеобщей истории (многотомная история Европы), в Институте мировой литературы (многотомная история всемирной литературы) и другие, в которых участвуют наши сотрудники. В целом проблематика Института увязана с действующими комплексными программами Отделения истории АН СССР: «Революции и социальный прогресс», «Проблемы войны и мира в XX в.», «История социалистического строительства», «Общие закономерности и специфические особенности развития общественных формаций», «Этногенез и этно-социальные процессы современности».

В духе решений XXVII съезда КПСС мы размышляем над дальнейшим усовершенствованием наших планов, вносим коррективы, связанные с необходимостью более ясного определения актуальности и практической значимости изучаемых проблем, а, следовательно, и с задачей освобождения от мелкотемья. Очевидно, в процессе работы выявятся и дискуссионные вопросы, и их надо активно обсуждать, создавая нормальные условия для проведения творческих дискуссий.

Планы наши обсуждены в коллективе Института, с ними знаком каждый научный сотрудник. Теперь должны последовать конкретные дела. В полной мере и к нам относятся слова М. С. Горбачева, сказанные им в заключительной речи при закрытии XXVII съезда КПСС: «Самое важное теперь — превратить энергию замыслов в энергию конкретных действий» [1, 1986, 7 III].

ЛИТЕРАТУРА

1. Правда.



КОЦАШЕВА М. И.

ИЗМЕНЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-КЛАССОВОЙ СТРУКТУРЫ ОБЩЕСТВА ЧССР В 70-е ГОДЫ

Изучение сдвигов, происходящих в социально-классовой структуре общества, имеет принципиально важное значение. В. И. Ленин отмечал, что «социальная структура общества и власти характеризуется изменениями, без уяснения которых нельзя сделать ни шагу в какой угодно области общественной деятельности. От уяснения этих изменений зависит вопрос о перспективах, понимая под этим... основные тенденции экономического и политического развития» [1]. Это подтверждает чехословацкий опыт начала 60-х годов, когда, по оценке XIV съезда КПЧ (1971), «ввиду недостаточно глубокого анализа классовой и социальной структуры допускалась поверхностная оценка современного этапа развития, устанавливались нереальные сроки завершения строительства социализма» [2, с. 21].

После преодоления общественно-политического кризиса 1968—1969 гг. Чехословакия вступила в новый этап социалистического строительства. Сформулированная XIV съездом КПЧ генеральная линия построения в ЧССР развитого социализма исходила из реалистической оценки состояния и тенденций развития социально-классовой структуры и степени социалистической сознательности классов и слоев общества. Принимались во внимание уровень экономического развития страны и тенденции роста общественного производства в мире, расстановка классовых сил на международной арене и программы строительства социализма в братских странах.

XVI съезд КПЧ (1981), подводя общие итоги развития страны в 70-е годы, констатировал, что несмотря на усложнившиеся внешние и внутренние экономические условия, эти годы войдут в историю социалистического строительства в ЧССР как период мирного развития и плодотворного созидательного труда. Стабилизировался социалистический строй, упрочился союз рабочего класса, кооперированного крестьянства и интеллигенции, укрепилось единство населяющих Чехословакию наций и народностей. При этом пятая пятилетка (1971—1975) относится к наиболее успешным в истории социалистического строительства в ЧССР. В следующем пятилетии произошло дальнейшее увеличение экономического и научно-технического потенциалов страны, однако темп прироста эффективности народного хозяйства сократился почти в 2,5 раза [3, с. 28]. На XVI съезде в связи с этим отмечалось, что «общие хозяйственные результаты были обусловлены недостаточно настойчивым воплощением на практике стратегической линии на быстрый рост эффективности и качества всей работы» [4, с. 166—167]. В 70-е годы в связи с переходом экономики ЧССР на более высокую ступень развития КПЧ стремилась использовать следующие основные пути интенсификации и повышения эффективности общественного производства: дальнейшее развитие науки и техники; улучшение использования производственных и трудовых ресурсов; изменение структуры общественного производства в соответствии с направлениями современного

научно-технического прогресса; развитие высших форм социалистической экономической интеграции и активизация участия ЧССР в международном разделении труда и в первую очередь в сотрудничестве с СССР.

Характерной чертой развития чехословацкого общества в рассматриваемый период было совершенствование межнациональных отношений на основе нового государственного федеративного устройства. В 70-е годы была, в сущности, решена задача преодоления экономических и социальных различий между Чешской и Словацкой социалистическими республиками. XV съезд КПЧ (1976) отметил выравнивание экономических уровней, а XVI съезд констатировал, что в ЧССР уже «устранены веками складывавшиеся различия в условиях экономической, политической и культурной жизни наших народов» [4, с. 19].

Касаясь проблем совершенствования социально-классовых отношений, съезд подчеркнул, что основное направление развития социально-классовой структуры чехословацкого общества определяется процессом сближения рабочего класса, кооперированного крестьянства, социалистической интеллигенции, преодолением различий между условиями жизни в городе и деревне, между работниками физического и умственного труда. Совершенствование социально-классовой структуры социалистического общества является результатом развития всех сфер жизни общества, особенно материально-экономической; возрастающее значение при этом приобретает целенаправленная научно-обоснованная социальная политика. Важное значение в документах КПЧ 70-х годов придавалось углублению социалистических качественных характеристик классов и социальных слоев, расширению влияния марксистско-ленинской идеологии в массах. Особое внимание уделялось упрочению ведущего положения рабочего класса в обществе.

В настоящей статье рассматриваются социально-экономические аспекты развития классовой структуры общества ЧССР.

Как известно, основы социалистической социально-классовой структуры в Чехословакии сформировались к началу 60-х годов. Был преодолен первый, причем важнейший и решающий рубеж на пути достижения социальной однородности общества. Удельный вес рабочих и служащих (в состав которых чехословацкая статистика включает интеллигенцию), являющихся совладельцами государственной социалистической собственности, вместе с членами Единых сельскохозяйственных кооперативов (ЕСХК) и другими совладельцами кооперативной социалистической собственности, составил в 1961 г. 96% всего населения страны. Причем удельный вес рабочего класса в целом практически не изменился (56,3% в 1961 г. и 56,4% в 1950 г.); в индустриально развитых Чешских землях он снизился с 59 до 56,5%, а в Словакии, где проводилась социалистическая индустриализация, увеличился с 49,5 до 55,9% [5, 1965, с. 87]. Тем самым опыт Чехословакии (как и ГДР) подтвердил, что вступление на путь социализма промышленно развитых стран не обязательно сопровождается заметным возрастанием доли рабочего класса в составе населения.

Поскольку рабочий класс являлся ядром социально-классовой структуры, то его социальный состав в 60-х годах наглядно отразил сдвиги, произошедшие в чехословацком обществе в результате построения основ социализма. Согласно данным микроценза 1967 г., 55,5% рабочих были выходцами из семей рабочих, 26,5 происходило из мелких и средних крестьян, 5,5 — из мелкой городской буржуазии, 5,3 — из служащих, 2,1% — из капиталистов [6, с. 40]. Рабочий класс сыграл значительную роль в создании народной интеллигенции (чехословацкие социологи включают в социальный слой интеллигенции так называемых служащих-специалистов, имеющих полное высшее и среднее специальное образование). По данным выборочной переписи населения 1967 г., рабочее происхождение имели 28,9% лиц с высшим образованием старшего поколения интеллигенции и 34,8% — младшего поколения [6, с. 47]. Более тесные социальные связи рабочий класс имел с кооперированным крестьянством, союз с которым в процессе социалистического преобразования деревни укрепился. Согласно тому же источнику, 46% крестьян-кооператоров, занятых

Изменение социального состава населения ЧССР, ЧСР и ССР в 1960—1980 гг. (в %)

Классы и социальные слои	1961	1970			1975			1980		
	ЧССР	ЧССР	ЧСР	ССР	ЧССР	ЧСР	ССР	ЧССР	ЧСР	ССР
Рабочие	56,3	60,1	61,3	59,7	61	61,3	60,5	62,1	62,2	61,9
Служащие (включая интеллигенцию)	27,9	27,4	28,6	24,9	28	28,9	26,1	28,6	29,3	27,4
Кооперированное крестьянство	10,6	9,4	8,4	11,4	8,3	7,3	10,3	7,4	6,6	9
Остальные кооперированные производители .	1,2	1,7	1,9	1,2	1,7	1,8	1,4	1,5	1,7	1,2
Крестьяне-единоличники	3,5	1,2	0,6	2,6	0,8	0,5	1,5	0,2	0,2	0,4
Остальные мелкие частники . .	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Лица свободных профессий .	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

ручным трудом, по своему первоначальному роду занятий являлись рабочими, 48,9 — крестьянами-единоличниками, 1,3 — служащими и 3,8% — кооперированными крестьянами [6, с. 53]. Высокий удельный вес бывших рабочих в социальном составе кооперированного крестьянства ЧССР прежде всего обусловлен высокой долей сельскохозяйственных рабочих, особенно в Словакии, а также рабочих — крестьян (коворольников), составлявших довольно значительную часть рабочего класса страны в переходный период.

Общая динамика социально-классового состава чехословацкого общества в 60—70-е годы отражена в табл. 1, составленной на основе данных переписей населения 1961, 1970 и 1980 гг. [5, 1976, с. 88, 1981, с. 107].

Из таблицы видно, что в 70-е годы произошло некоторое увеличение доли рабочего класса в составе всего населения (в 1961 г. оно составляло 13 млн 746 тыс. человек, в 1970 г. — 14 млн 345 тыс., а в 1980 г. — 15 млн 283 тыс.). Однако темпы роста абсолютной численности рабочих замедлились. Эта тенденция в значительной мере обусловлена произошедшими сдвигами в соотношении источников пополнения рабочей силы и изменениями в ее отраслевой структуре. Материалы переписи 1970 и 1980 гг. свидетельствуют, что доля экономически активного населения ЧССР почти не изменилась (44,6% в 1970 г. и 44,7% в 1980 г.) [8]. Вместе с тем динамика отраслевой структуры занятости в народном хозяйстве Чехословакии в 70-е годы свидетельствует о дальнейшем увеличении удельного веса работников в непроизводственной сфере (с 21 до 23,2%) и соответственном его сокращении в сфере материального производства [5, 1981, с. 192—193; 7, с. 53]. Так, продолжала уменьшаться доля экономически активного населения в сельском (с 17,1 до 13,1%) и лесном хозяйстве (с 1,5 до 1,3%); на 0,3% сократился удельный вес занятых в промышленности, хотя абсолютная их численность в этой отрасли возросла. В целом темпы прироста численности рабочей силы в сфере материального производства снизились в 70-е годы с 10 до 6% по сравнению с 60-ми годами [5, 1980, с. 20—25]. Одновременно увеличилась доля работников просвещения (с 4,7 до 5,2%), культуры (с 1,1 до 1,5%), здравоохранения (с 3,3 до 4%), в научно-исследовательской сфере (с 2,2 до 2,3%) — в общей сложности почти на 230 тыс. человек [8]. Возрастающую роль в этом процессе играет научно-техническое развитие.

При этом динамика отраслевой структуры занятости в Чешских землях и в Словакии в 70-е годы, как и в предшествующие два десятилетия, свидетельствовала об опережающих темпах сдвигов в Словакии по сравнению с общегосударственными, в результате чего было достигнуто определенное выравнивание уровней этих показателей для ЧСР и ССР. Так,

к началу 1980 г. доля занятых в производственной сфере Чешских земель составила 76,7%, в Словакии — 77, в том числе в промышленности соответственно 39,9 и 33,7, в сельском хозяйстве 11,7 и 10,2%. Сблизились уровни занятости и в отраслях социальной инфраструктуры, в том числе в области культуры — 1,6 в ЧСР и 1,2% в ССР, здравоохранении соответственно 3,9 и 4,1%, в научно-исследовательской сфере — 2,3 и 2,1%. В области просвещения занятость в ССР (6,1%) оказалась даже выше, чем в ЧСР (4,9%) [5, 1981, s. 192—193; 7, s. 53].

Характерной чертой развития отраслевой структуры рабочей силы в ЧССР, как и в других социалистических странах Европы, является сокращение численности занятых в сельском хозяйстве. Однако в 70-е годы этот процесс в Чехословакии несколько замедлился. Если в 50-х годах удельный вес занятых в этой отрасли снизился с 36,9 до 24,2%, в 60-х составил 16,8, в 70-х годах — 12,8% [5, 1980, s. 32—33]. Это объясняется укреплением кооперативного сектора в деревне, успешным проведением целенаправленной социальной политики КПЧ.

Соответственно замедлился приток работников в индустриальные отрасли материального производства — промышленность и строительство [5, 1963, s. 116; 1972, s. 133; 1980, s. 192], поскольку основное пополнение экономически активного населения и прежде всего рабочего класса происходило за счет выходцев из крестьян, а также женщин.

Ввиду значительной исчерпанности источников массового притока новой рабочей силы (в пятой пятилетке ее прирост составил 410 тыс. человек, в шестой — 280 тыс., в седьмой — около 150 тыс.) темпы роста занятости все заметнее стали определяться демографическими факторами. В 70-х годах в ЧССР проявлялись неблагоприятные последствия демографической ситуации: одновременно с увеличением количества работников пенсионного возраста уменьшилась доля занятых в возрастной группе 20—29 лет [5, 1974, s. 86; 1980, s. 200, 201, 286]; около 80% возрастной категории 15—19 летних готовилось к получению профессии [10]. Тем не менее воспроизводство рабочей силы в ЧССР начало осуществляться преимущественно за счет молодежи, вступающей в трудовой процесс после обучения в различных профессиональных училищах и специальных средних школах, что оказывает позитивное влияние на качественные характеристики рабочего класса и кооперированного крестьянства.

Важным фактором, определяющим социально-классовые процессы в обществе, является соотношение доли физического и умственного труда в сфере материального производства и в непроизводственных отраслях, т. е. изменения в содержании и характере труда. Согласно данным выборочного социолого-статистического исследования, проводившегося в ЧССР в 1978 г. под названием «Классовая и социальная структура 78», 37% экономически активного населения Чехословакии было занято физическим трудом в производственной сфере, что на 4,6% меньше, чем в 1972 г. и на 7,6% — по сравнению с 1967 г., физическим трудом в непроизводственных отраслях — 24% трудящихся (в 1972 г. — 22,8, в 1967 г. — 20,6%) [11, s. 36]. Умственным трудом в сфере материального производства занималось 9,3%, что на 0,5% превышало показатели 1972 и 1967 гг., в непроизводственных отраслях — 29,7% (в 1972 г. — 26,8, в 1967 г. — 26%) [11, s. 36]. Таким образом, под влиянием научно-технического прогресса в динамике общественного труда в 70-х годах четко прослеживалась тенденция постоянного возрастания доли населения занятого физическим и умственным трудом вне сферы материального производства и увеличения удельного веса умственного труда в производственной сфере... Происходило снижение доли физического труда в сфере материального производства, хотя, как отмечалось на XV съезде КПЧ, низкие темпы этого процесса не соответствовали потребностям интенсивного развития экономики [12, с. 40].

Наиболее полное представление о сдвигах в социально-классовом составе экономически активного населения ЧССР дают результаты выше упомянутого социолого-статистического обследования 1978 г. Оно осуществлялось с учетом трех факторов: отношения трудящихся к формам собственности; общественного разделения труда; характера и содержания

труда. Общие итоги этого исследования отражены в табл. 2, составленной на основании данных [11, с. 46].

Приведенные показатели подтверждают замедление темпов социальных перемещений, что свидетельствует об определенной количественной стабилизации социально-классовых процессов в чехословацком обществе. Новой тенденцией в 70-е годы стало сокращение удельного веса рабочих в составе занятого населения. Согласно прогнозу видного чехословацкого социолога Ф. Харвата, к 1990 г. ввиду низких темпов роста абсолютной численности рабочего класса эта доля составит немногим более 57% [13, с. 42].

Таблица 2

Социально-классовая структура экономически активного населения ЧССР в 1967—1978 гг. (в %)

Классы и социальные слои	1967	1972	1978
Рабочий класс	61,7	60,6	58,2
Интеллигенция	20,2	21	22,6
Служащие	9,5	9,9	10,7
Кооперированное крестьянство	6,8	6,6	6,3
Остальные кооператоры	1,5	1,6	1,9
Единоличные крестьяне	0,1	0,1	0,1
Мелкие частники	0,1	0,1	0,1
Лица свободных профессий	0,1	0,1	0,1

Тенденция замедления количественного роста чехословацкого рабочего класса отчетливо проявилась в его индустриальных отрядах, численность которых в предшествующие два десятилетия возрастала более быстрыми темпами. В 1980 г. она составила 2 054 тыс. человек (в 1970 г. — 1 976 тыс.) [5, 1981, с. 357]. Упрочилась тенденция снижения доли промышленных рабочих в общем числе рабочих и служащих — с 31,5 в 1970 г. до 31,4% в 1980 г. [9, 1981, с. 131]. и в численности промышленно-производственного персонала — с 76,6 до 75,8% [5, 1981, с. 406].

Абсолютная численность промышленных рабочих Чехословакии в 70-е годы по-прежнему увеличивалась за счет индустриального рабочего класса Словакии (его число возросло с 457 до 554 тыс. человек; в ЧСР оно сократилось на 10 тыс. [5, 1981, с. 357]). В отраслевой структуре промышленного рабочего класса продолжалось увеличение абсолютной численности и удельного веса рабочих ведущей отрасли — машиностроения при одновременном сокращении работников других отраслей, особенно легкой промышленности, где производственные процессы в значительной мере автоматизированы. Получили дальнейшее развитие и такие приоритетные отрасли как энергетика, электротехника, металлургия и химическая промышленность.

Численность строительных рабочих практически не изменилась, составляя немногим более 460 тыс. человек [5, 1981, с. 208]. Причем среди работников строительства, как и промышленно-производственного персонала, более быстрыми темпами возрастала доля инженерно-технического персонала. По сравнению с 60-ми годами удельный вес промышленных и строительных рабочих в общем числе рабочего класса снизился в среднем на 2—3%.

Продолжали сокращаться число и доля сельскохозяйственных рабочих, однако их удельный вес в составе всех занятых аграрным трудом возрос, поскольку численность работников государственного сектора сельского хозяйства сокращалась медленнее, чем членов ЕСХК.

Для динамики отраслевого состава чехословацкого рабочего класса в 70-е годы было характерно уменьшение доли занятых в сфере материального производства и увеличение доли работников в отраслях социальной инфраструктуры, что отражало опережающий рост занятости в относительно новых для рабочего класса секторах экономики и свидетельствовало об усложнении его профессионально-отраслевой структуры. Следует также

иметь в виду, что после введения в 1970 г. в Чехословакии нового классификатора занятий социальные границы рабочего класса¹ расширились за счет вспомогательного и обслуживающего персонала, прежде относившегося к категории служащих. Так, в 1970 г. к категории рабочих торговли было отнесено 70% работников этой сферы обслуживания (в 1961 г. они составляли 30%) [14, с. 76].

Отраслевая структура рабочего класса в конце 70-х годов была следующей: в промышленности было занято 48,6%, в строительстве — 9,1, на транспорте и связи — 9,4, в сельском хозяйстве 8,8, в непроизводственных отраслях — 24,1% [11, с. 22]. В целом в 1980 г. физическим трудом в производственной сфере ЧССР занималось 51% рабочих, в непроизводственных отраслях — 41, умственным трудом в материальном производстве — 8%. По предположениям Ф. Харвата, к 1990 г. эти показатели составят соответственно 46—47, 43 и 10—11% [21, с. 101].

Что касается кооперированного крестьянства, то его доля в составе населения ЧССР была относительно небольшой, причем абсолютная численность и удельный вес крестьян среди занятых продолжали сокращаться, что в определенной мере являлось следствием индустриализации сельскохозяйственного производства и изменяющегося в связи с этим характера и содержания аграрного труда. В 70-е годы фондовооруженность работников сельского хозяйства увеличилась более чем вдвое, что превышало индекс фондовооруженности работников всей производственной сферы [5, 1976, с. 214; 1980, с. 238, 239]. Выросла техническая оснащенность сельского хозяйства, в частности, увеличился более чем в два раза современный парк сельскохозяйственных машин. В результате структурных сдвигов в растениеводстве — наиболее развитой отрасли сельского хозяйства ЧССР — произошло абсолютное сокращение численности работников (с 330,4 тыс. постоянно занятых в кооперативном секторе в 1970 г. до 217,7 тыс. — в 1977 г.) и снижение их удельного веса в общей занятости в сельскохозяйственном производстве (в кооперативном секторе за тот же период с 46,1 до 35,3%) [15, с. 103]. Доля работников, занятых ручным трудом в растениеводстве кооперативного сектора, сократилась в 70-х годах с 31,8 до 19,9%. Ведущими там были профессии тракториста и комбайнера, удельный вес которых среди механизаторов и других рабочих профессий составил более 31% [15, с. 103].

В складывающейся новой структуре специализированных профессий внутри класса кооперированного крестьянства в 70-е годы доля работников промышленных профессий возросла с 4,3 до 6,8%, строительных профессий — с 4 до 5,6, удельный вес хозяйственно-технических работников увеличился с 9 до 11,8% [15, с. 103, 106]. Эти отряды кооперированного крестьянства сближаются по характеру труда с отдельными отрядами рабочего класса. В 1980 г. кооперированное крестьянство ЧССР по характеру труда распределялось следующим образом: 71% занимались физическим трудом в производственной сфере и 12 — в непроизводственной, 12% было занято умственным трудом в производственной области, т. е. его доля в сельском хозяйстве была значительно выше, чем в общих показателях этого вида труда во всем народном хозяйстве и у рабочего класса, и 5 — в непроизводственной сфере [21, с. 102]. Все это свидетельствовало о прогрессивных изменениях в характере аграрного труда².

Как показывают результаты социолого-статистического исследования 1978 г., 25,1% лиц современного поколения, имевших первоначальный статус кооперированного крестьянина, переходят в рабочий класс, 3,3 — в социальный слой интеллигенции, 2 — в служащие, 0,6% — в другие кооперированные производители [11, с. 51]. Более половины современного поколения кооперированных крестьян составляют выходцы из рабочего

¹ К категории «рабочие» в ЧССР относятся все работники физического труда, работающие по найму, как участвующие, так и не участвующие в производстве материальных ценностей.

² По предположительным расчетам Ф. Харвата, эти показатели к 1990 г. составят соответственно 67—69%, 11—13, 14—15 и 5—6% [21, с. 102].

класса и лишь 25,1% — из самих кооперированных крестьян, что остается специфической социально-классовых процессов в чехословацком обществе, где более 60% сельских жителей составляют работники несельскохозяйственных отраслей. В 70-х годах в Чехословакии удалось приостановить «старение» класса крестьян, средний возраст которых достиг 44 лет, за счет притока молодых тружеников, большинство из которых пришли в сельское хозяйство из профучилищ [16, с. 59]. Однако процесс сокращения доли этой категории работников аграрного труда, очевидно, будет иметь место и в дальнейшем (согласно прогнозу Ф. Харвата, в 1990 г. удельный вес кооперированного крестьянства среди занятых достигнет 7,6%). Поэтому задача интенсификации сельского хозяйства в ЧССР остается актуальной.

Сокращение удельного веса кооперированного крестьянства в составе как всего, так и экономически активного населения не означало, естественно, уменьшения его роли в экономической и социально-политической жизни страны. Крестьянству по-прежнему принадлежит важнейшая социальная роль в обеспечении городского населения продуктами питания.

Характерной особенностью Чехословакии является преобладание рабочего класса в сельских населенных пунктах, доля которого возрастает там быстрее, чем в городах. Так, в 1970 г. в селах ЧСР 60,4% населения составляли рабочие (в Словакии — 60,8), 16,1 — интеллигенция и служащие (в Словакии — 16,2), 20,9 — кооперированные крестьяне (в Словакии — 17,5), 2,4% — другие кооператоры (в Словакии — 1,5). В городах ЧСР рабочий класс составлял 56,7% (в ССР — 50,3), интеллигенция и служащие — 38,9% (в ССР — 44,2) [5, 1974, с. 85; 1981, с. 108—109; 17, с. 435—436]. В 70-е годы в социальной структуре сельского населения ЧССР сохранилась та же тенденция преобладающего увеличения удельного веса рабочего класса, который составил в 1978 г. в ЧСР 61,2, а в ССР — 61,3% [8]. Это важное общественное явление отражает возрастание социальной однородности чехословацкого общества.

В условиях научно-технического прогресса опережающими темпами шло увеличение абсолютной численности и доли интеллигенции в составе населения ЧССР.

Об изменении социально-профессиональной структуры интеллигенции ЧССР в 70-е годы в определенной мере свидетельствовали данные о распределении выпускников вузов³. В период 1970—1980 гг. их доля среди технических специальностей возросла с 31,1 до 35,4%, экономистов — с 7,2 до 12,9%, медиков — с 8,7 до 10,1%, вместе с тем очень резко уменьшился удельный вес педагогов — с 30,9 до 18,7% [18, с. 61].

Самую многочисленную группу чехословацкой интеллигенции — 39,2% — составляли работники управления, 30,8 — работники просвещения, культуры и здравоохранения, инженеры и техники — 22%, сотрудники научно-исследовательских учреждений — 3,5% [13, с. 38]. По сравнению с 60-ми годами в ЧССР возросла численность технической интеллигенции, занятой в производственной сфере, однако темпы ее роста все еще не соответствовали общественным потребностям. Чехословакия в этом отношении занимает однако одно из последних мест среди стран — членов СЭВ.

Увеличился удельный вес сельской интеллигенции. В середине 70-х годов на тысячу занятых в аграрном секторе народного хозяйства ЧССР приходилось уже 106 специалистов с высшим и средним специальным образованием [12, с. 52]. В период 1963—1976 гг. доля специалистов с высшим образованием возросла среди председателей ЕСХК с 3,5 до 25,2%, среди агрономов — с 5,9 до 34%, среди зоотехников — с 4,1 до 35,3%, среди экономистов — с 2,3 до 29,3% [11, с. 40]. Условия труда и жизни этих отрядов интеллигенции и кооперированного крестьянства имеют общие черты, также как технической интеллигенции и рабочего класса. Поэтому динамика внутренней структуры интеллигенции является важным фактором ее сближения с двумя основными классами общества.

³ При этом следует иметь в виду, что более 12% выпускников вузов работало на местах, не соответствующих уровню их образования.

В 1980 г. по характеру труда чехословацкая интеллигенция распределялась следующим образом: в сфере материального производства умственным трудом занималось 20%, в непроизводственных отраслях — 80%. Согласно расчетам Ф. Харвата, к 1990 г. эти показатели составят соответственно 17—19 и 81—83% [21, s. 102], т. е. произойдет некоторое сокращение доли умственного труда интеллигенции, занятой непосредственно на производстве. Внутригрупповая же динамика рабочего класса, как уже отмечалось, предполагает возрастание удельного веса занятых умственным трудом и сокращение доли физического труда в материальном производстве. Таким образом, разница между трудом интеллигенции и рабочего класса все еще значительна, тем не менее существенные различия между физическим и умственным трудом постепенно преодолеваются — по мере развития производительных сил общества и перевода экономики на интенсивный путь.

В целом же, по предположительным расчетам Ф. Харвата, к 1990 г. 32,8—33,8% экономически активного населения ЧССР будет занято физическим трудом на производстве и 28—28,6 — физическим трудом вне производственной сферы, 8,5—9,6 — умственной деятельностью на производстве и 29,1—29,6% — умственной деятельностью в непроизводственных отраслях [13, s. 43]. В более отдаленной перспективе определяющей тенденцией изменения характера труда должно стать возрастание доли умственного труда в сфере материального производства (до 10,1—13,1% в 2000 г.) [13, s. 43].

В 70-е годы социальный слой интеллигенции продолжал пополняться выходцами из рабочего класса и интеллигенции рабоче-крестьянского происхождения. В конце 70-х годов представители интеллигенции по своему социальному происхождению (в аспекте перемещений между поколениями) на 61,7% являлись выходцами из семей рабочих, 18,5 — из интеллигенции, 5,2 — из служащих, 0,9 — из кооперированных крестьян и других кооператоров, 13,7 — из мелких частных [13, s. 39]. Вместе с тем для чехословацкой интеллигенции характерен высокий уровень самовоспроизводства. Она наиболее устойчива при перераспределении населения в социальные группы в рамках поколения. Выходцы из семей интеллигенции по своему первоначальному социальному статусу на 63,6% относились к интеллигенции, 26,7 — к рабочему классу, 7,4 — к служащим, 2,1 — к кооперированным крестьянам и другим кооператорам, 0,2% — к мелким частникам [13, s. 39].

Формирование этого социального слоя остается в ЧССР сложным процессом. Социологические исследования, проводившиеся во второй половине 70-х годов, подтвердили, что студенчество по социальному происхождению не отражало точно социально-классовую структуру чехословацкого общества. Анализ механизма воспроизводства интеллигенции показал взаимосвязь между социальным происхождением отдельных социoproфессиональных групп интеллигенции и профессиональной дифференциацией студенчества. Так, социальное происхождение студентов вузов сельскохозяйственного, педагогического и машиностроительного профиля в основном соответствовало доле рабочего класса и крестьянства в социальной структуре, а медицинские и экономические вузы в этом смысле служили базой самовоспроизводства интеллигенции [18, s. 27].

Состоявшиеся в 70-х годах съезды КПЧ отмечали возрастание значения интеллигенции в социалистическом обществе, связанное с интенсификацией экономики, повышением роли образования, науки и культуры. Все более высокие требования предъявляются как к ее профессиональному, так и идейно-политическому уровню.

Следует также упомянуть, что имевшее место в 70-х годах увеличение количества служащих в узком смысле этого слова являлось неблагоприятной тенденцией. В соответствии с решениями XVI съезда КПЧ в ЧССР проводится работа по совершенствованию системы управления во всем народном хозяйстве, способствующая сокращению численности этой социальной группы.

В чехословацком обществе помимо бывших представителей буржуаз-

ных и мелкобуржуазных слоев, перешедших в другие социальные группы (в 1980 г. они составляли, по данным социолога Л. Забраговой, соответственно 120 тыс. и 1 млн человек [20, с. 91]), сохранился незначительный по сравнению с другими европейскими социалистическими странами (например, ГДР и ВНР) социальный слой, базирующийся на мелкой частной собственности. В 1970 г. численность некооперированных крестьян, ремесленников и торговцев составляла соответственно 178 тыс., 12 и 10 тыс. человек. К началу 80-х годов она сократилась до 43 тыс., 7 и 8 тыс. человек [5, 1975, с. 110, 1980, с. 97].

Качественные изменения, происходившие в 70-е годы в классах и социальных слоях, наиболее ярко проявились в ведущей силе чехословацкого общества — рабочем классе.

В настоящей статье не рассматриваются интеграционные процессы, устраняющие внутриклассовые различия в рабочем классе, которые обусловлены наличием крупных и мелких предприятий, отраслевых особенностей и специфических территориальных черт. Значительно большее влияние на социально-классовые процессы в чехословацком обществе оказывают уровень квалификации и образования, содержание и характер труда рабочих, их идейно-политическая зрелость. Улучшение указанных качественных характеристик находилось в центре внимания социальной политики КПЧ в 70-е годы.

В условиях, когда, по существу, исчерпаны социальные источники роста численности рабочего класса и преобладает его количественная стабильность, особое значение приобрело планомерное формирование молодого поколения рабочих. В 70-х годах квалификационный уровень повышался наиболее быстрыми темпами среди рабочей молодежи. В стране ежегодно выпускалось более 100 тыс. квалифицированных (по чехословацкой статистике — выученных) рабочих. В 1980 г. категория окончивших профтехучилища составляла 30% рабочего класса ЧССР [18, с. 18]. Статистика свидетельствует также, что более быстрыми темпами по сравнению с отраслями материального производства возрастала численность выпускников профессиональных училищ, готовивших квалифицированные кадры для сферы обслуживания. В 1970—1980 гг. удельный вес выученных рабочих в области промышленности, строительства и транспорта снизился с 72,2 до 68,6%, сельского хозяйства — с 8,3 до 8,1, а в непроизводственных отраслях возрос с 19,5 до 23,3% [18, с. 60].

Вместе с тем в связи с проходившей в 70-е годы естественной сменой поколений изменения в квалификационном уровне рабочих вызвали обострение проблемы обеспечения рабочей силой неквалифицированных и малоквалифицированных видов труда, что приводило порой к непомерно высокой их оплате. В народном хозяйстве Чехословакии квалифицированная рабочая сила не всегда использовалась по своему назначению. На рубеже 70—80-х гг. доля квалифицированных рабочих, занятых не по специальности, составляла около трети, а в некоторых отраслях — около половины работавших [5, 1981, с. 209].

Решению задачи эффективного использования рабочей силы призван сыграть комплекс мероприятий по совершенствованию управления народным хозяйством ЧССР, принятый в январе 1980 г. [22].

Важным фактором дальнейшего социального развития рабочего класса является совершенствование средств труда.

О технической оснащенности труда рабочих в 70-х годах свидетельствуют следующие обобщенные показатели по отраслям, где занята наибольшая часть рабочего класса ЧССР. Согласно данным социолого-статистического исследования 1978 г., средства труда рабочих составляли: простые машины — 2%, механизированные — 43, частично автоматизированные машины — 36,8, машины с программным управлением — 4,1, машины с полным управлением рабочего цикла — 1,5% [II, с. 30]. При этом ручной труд преобладал у 52,7% рабочих (в ЧСР — 54,2, в ССР — 48,6), механизированный труд — у 33,3% рабочих (в ЧСР — 32,6, в ССР — 35,1), частично автоматизированный труд — у 12% рабочих (в ЧСР — 11,6, ССР — 12,9), полностью автоматизированный труд —

у 2% рабочих (в ЧСР — 1,4, ССР — 3,4) [11, с. 30]. Приведенные показатели свидетельствуют, что темпы технического перевооружения еще не полностью соответствовали необходимым изменениям в характере труда рабочих. Неотложного решения, таким образом, требовала задача ускорения темпов внедрения современной технологии и достижений научно-технического прогресса в производство, повышения производительности и эффективности труда. Между тем в конце 70-х годов в ЧССР в условиях сокращавшейся численности рабочей силы в материальном производстве сохранялся значительный объем устаревшего оборудования, сроки амортизации которого были превышены в среднем более чем на 10 лет, в промышленности работало более 20% совершенно устаревших машин [23]. Все это имело определенные социальные последствия.

Изменения в развитии рабочего класса ЧССР во многом обуславливались дальнейшим повышением его общеобразовательного и квалификационного уровня. Согласно результатам социолого-статистического исследования 1978 г., 2,4% чехословацких рабочих имели незаконченное основное (9-летнее) образование⁴, 33,4 — основное школьное образование, 49,8 — специальное профессионально-техническую подготовку, 5,9 — неполное среднее и 8 — полное среднее специальное образование, 0,5% — высшее образование [11, с. 28]. По данным переписи населения 1980 г., в народном хозяйстве ЧССР было занято 7,2% специалистов с высшим образованием, 17,5 со средним специальным и 3,5 — с полным средним образованием, 33,2 — окончивших основную школу и 33% — профессионально-технические училища, т. е. квалифицированных рабочих [24, с. 81].

В 70-е годы в составе рабочего класса ЧССР возросла доля лиц, получивших общеобразовательную и профессионально-техническую подготовку, что несомненно оказало влияние на эффективность труда рабочих. Вместе с тем статистические данные свидетельствуют, что производительность их труда росла медленнее, чем образовательный и квалификационный уровень. Производственная культура рабочего класса все еще не отвечала требованиям эффективности общественного труда, что обуславливалось также факторами идейно-этического порядка, уровнем социалистической трудовой сознательности и дисциплинированности работников.

По мнению чехословацких социологов, на этапе строительства развитого социализма образованность и квалификация рабочего класса оказывает влияние на динамику социально-классовой структуры общества ЧССР — углубляется социалистический характер рабочего класса, происходит сближение отдельных отрядов рабочего класса и интеллигенции, осуществляются социальные перемещения [25]. Социальная мобильность в 70-х годах (в аспекте перемещений между поколениями), в результате которой значительная часть выходцев из семей рабочих продолжала пополнять ряды интеллигенции (61,7%), служащих (74,5), кооперированных крестьян (57,5) и остальных кооператоров (69,3), а ряды самого рабочего класса на 74,4% пополнялись за счет рабочей молодежи, свидетельствовала о повышении уровня социальной однородности общества ЧССР [13, с. 43]. В современном поколении выходцы из семей рабочих по своему первоначальному социальному статусу на 89,3% относились к рабочему классу, 52,6 — служащим, 50,5 — кооперированным крестьянам, 45,9 — другим кооператорам, 23,3% — к интеллигенции [11, с. 49]. В свою очередь, рабочий класс участвовал в воспроизводстве других элементов социально-классовой структуры ЧССР; в группу интеллигенции перешло 6,5% лиц с первым социальным статусом рабочий, служащих — 8,7, кооперированных крестьян — 6,4, других кооператоров — 1,2% [11, с. 49]. Эти данные социолого-статистического исследования 1978 г. свидетельствуют, что в 70-х годах в рамках одного поколения степень социальных перемещений была более чем вдвое ниже по сравнению с перемещениями между поколениями, хотя и в этом аспекте социально-классовые процессы

⁴ С 1978 г. в Чехословакии введено обязательное десятилетнее школьное обучение.

в чехословацком обществе замедлились по сравнению с 60-ми годами и особенно с периодом строительства основ социализма.

На основе анализа пополнений рабочего класса и других социальных групп Ф. Харват пришел к заключению, что в перспективе рабочее происхождение у всех классов и основных социальных слоев будет колебаться приблизительно в пределах 60—70% [13, с. 43]. Согласно его прогнозу, к 1990 г. изменения в чехословацком обществе произойдут, главным образом, в отношении удельного веса рабочего класса (57,1%) и интеллигенции (22,7—23%), степень различий между которыми является наибольшей [13, с. 43].

Как известно, после создания социалистической по типу социально-классовой структуры в обществе сохраняются различия между основными классами и социальными слоями по месту в системе общественного производства, по отношению к средствам производства, по роли в общественной организации труда, а также в сфере распределения.

Социально-классовые различия в сфере распределения с количественной стороны в Чехословакии уже незначительны. В 70-е годы в ЧССР, в сущности, были преодолены различия в оплате аграрного и промышленного труда. В шестой пятилетке (1976—1980) сопоставимые денежные доходы кооперированных крестьян достигли уровня средней заработной платы в народном хозяйстве [5, 1981, с. 22, 23]. Были выравнены доходы трудящихся в кооперативном секторе сельского хозяйства с доходами в других отраслях экономики [5, 1981, с. 531]. Выравнивание уровня доходов рабочего класса и кооперированного крестьянства отразилось в соотношении общих доходов их семей. В конце 70-х годов оно составляло 100 : 95 (соотношение доходов семей интеллигенции и служащих с доходами семей рабочих составляло 114 : 100) [13, с. 38].

С введением в 1976 г. в Чехословакии единой системы социального обеспечения граждан было усовершенствовано пенсионное обеспечение членов ЕСХК и тем самым устранены социальные различия в этой области. Трудовое законодательство ЕСХК также приблизилось к положениям Свода законов о труде после принятия в 1975 г. нового закона о сельскохозяйственной кооперации.

Поскольку в ЧССР основные потребности населения уже удовлетворены по научно обоснованным нормам, социалистическое государство уделяет все больше внимания гармоничному развитию самих потребностей. Распределение из общественных фондов потребления, которые дали возможность в определенной мере сблизить уровни доходов работников разной категории оплаты, малых и больших семей, на современном этапе рассматривается КПЧ прежде всего как дополнительный инструмент удовлетворения потребностей, в развитии которых общество заинтересовано в первую очередь [4, с. 212].

Возрастающее значение в преодолении социально-классовых различий в обществе, строящем развитой социализм, как уже отмечалось, приобретает характер и содержание труда, оказывающие влияние на темпы перехода от экстенсивного развития общественного производства к интенсивному, на масштабы и темпы миграции населения из деревни в город, на изменение структуры промышленного производства, на общеобразовательный и квалификационный уровень работников физического и умственного труда, на их материальную обеспеченность, структуру потребностей и ценностные ориентации. В конечном итоге из совокупности всех этих различий в характере труда вытекает своеобразие в образе жизни основных социальных групп общества. Из-за сохранения материальных предпосылок, обуславливающих существование и воспроизводство социальных различий при социализме, процесс сближения классов и социальных слоев является длительным и противоречивым. Его суть составляет диалектика взаимодействия развивающихся черт общности, сближения социальных групп и сохраняющихся социальных различий.

Главным направлением в преодолении социально-классовых различий в чехословацком обществе в 70-е годы являлось совершенствование и сближение обеих форм социалистической собственности на основе укреп-

ления и дальнейшего развития материально-технической базы социализма в промышленности и сельском хозяйстве, изменения характера аграрного труда и его превращения в индустриальный.

Качественные сдвиги в технической вооруженности сельского хозяйства обусловили необходимость и возможность дальнейшей концентрации и специализации производства путем создания межкооперативных объединений, межхозяйственных объединений кооперативов и госхозов, а также кооперирования сельскохозяйственных организаций с предприятиями перерабатывающей промышленности. В 70-е годы непрерывно возрастала общая численность различных целевых объединений предприятий сельского хозяйства и других отраслей. В 1977 г., например, их насчитывалось 834, в том числе 345 агропромышленных комплексов (АПК) [26, с. 70].

Важное общественное значение АПК определяется, прежде всего, тем, что в межотраслевом комплексе представлены два основных класса, союз которых является главным политическим выражением социально-классовой структуры социалистического общества, — кооперированное крестьянство и часть рабочего класса. В рамках этого объединения трудятся также представители разных социoproфессиональных групп интеллигенции и других социальных слоев. В составе занятых в АПК неуклонно возрастала доля рабочих и служащих государственного сектора, увеличивался удельный вес работников несельскохозяйственных отраслей. Так, если в 1967 г. он составлял 40,7% общей занятости в межотраслевом комплексе, то в 1975 г. — 48%, что свидетельствует о повышении уровня общественного разделения труда в этой сфере экономики. За тот же период доля работников АПК, занятых ручным трудом, сократилась с 74,8 до 70,1% [26, с. 56, 58].

После преодоления существенных различий в уровне жизни между городом и деревней актуальной задачей в Чехословакии стало устранение различий в образовательном уровне населения. КПЧ и социалистическое государство уделяют большое внимание повышению образованности и квалификации работников сельского хозяйства. В 70-х годах уже более 94% молодежи в сельскохозяйственном производстве имели специальность. К началу 80-х годов доля лиц с высшим и средним образованием составила там 17%. Среди технико-хозяйственного персонала в сельском хозяйстве удельный вес специалистов с высшим образованием достиг в 1980 г. 13,7%, со средним, включая полную общеобразовательную школьную подготовку — 67,2% [15, с. 110]. Среди работников, занятых ручным трудом, подготовку в системе сельскохозяйственного профессионально-технического образования получили в 1980 г. 29,3%, а основное 9-летнее школьное образование — 68% [15, с. 115].

Прогрессивные изменения в общеобразовательном и квалификационном уровне основных социальных групп являются важным показателем социальной динамики работников физического и умственного труда. Для преодоления существенных различий между ними потребуются, как известно, более длительные сроки, чем для преодоления существенных различий между городом и деревней. Это достигается в Чехословакии, как и в других странах социализма, путем интеллектуализации физического и технизации умственного труда. Характерным последствием преодоления названных наиболее устойчивых социальных граней социологи считают возникновение таких перспективных «пограничных» слоев трудящихся как рабочие-интеллигенты и близкая к ним по социальным характеристикам группа технической интеллигенции, непосредственно занятой на производстве.

Рассмотренные в настоящей статье основные тенденции изменения социально-классовой структуры, изучение которых необходимо для обеспечения планового управления экономическим и социальным развитием, свидетельствует о дальнейшем совершенствовании социалистических социально-классовых отношений в Чехословакии в 70-е годы. Рост органической целостности общества ЧССР нашел отражение в соотношении удельного веса основных социальных групп и прежде всего в усилении общих

черт в их социальном облике. Динамизм развития системы социально-классовых отношений на этапе строительства развитого социализма в Чехословакии проявился в ускорении процесса преодоления социальных различий, в сближении классов и социальных слоев по отношению к средствам производства, по характеру труда и в сфере распределения. Особенно четко это прослеживалось в динамике общественного труда, а также в способе получения произведенных благ и уровне доходов, в условиях жизнедеятельности рабочего класса, кооперированного крестьянства и интеллигенции.

ЛИТЕРАТУРА

1. Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 20, с. 186.
2. XIV съезд Коммунистической партии Чехословакии. М., 1971.
3. Чехословацкая социалистическая республика. М., 1984.
4. XVI съезд Коммунистической партии Чехословакии. М., 1982.
5. Statistická ročenka CSSR. Praha.
6. Sociální struktura ČSSR a její vývoj v 60-ech letech. Praha, 1972.
7. Průcha V., Kalinová Z. Dlouhodobé tendence ve vývoji československého hospodářství. Praha, 1981.
8. Rudé právo, 1982, 19 VIII.
9. Статистический ежегодник стран — членов СЭВ. М.
10. Hospodářské noviny, 1980, č. 3, s. 7.
11. Archivní fond Ústavu pro filosofii a sociologii ČSAV. Vývoj sociálně třídní struktury naší společnosti a růst vedoucí úlohy dělnické třídy (hlavní výsledek práce 6. tematu JPSV. 1980).
12. XV съезд Коммунистической партии Чехословакии. М., 1977.
13. Charvát F. Sociální struktura naší společnosti na přelomu 70—80 let-stav a perspektivy.— Nová mysl, 1981, č. 3.
14. Charvát F., Linhart J., Večerník J. Sociálně třídní struktura Československa. Praha, 1978.
15. Ламсер Э., Сура И. Человек в социалистическом сельском хозяйстве. М., 1982.
16. Věkové složení pracovníků podle kategorií odvětví národního hospodářství. Federální statistický úřad. Praha, 1979.
17. Vývoj společnosti ČSSR podle výsledků sčítání lidu, domů a bytů 1970. Praha, 1975.
18. Сопоставление показателей статистики ЧССР и ВНР. Прага—Будапешт, 1983.
19. Matějovský A. Sociální reprodukce inteligence v ČSSR.— Sociologický časopis, 1980, č. 1.
20. Zabraňová L. Vývoj třídní a sociální struktury ve výstavbě rozvinuté socialistické společnosti — Vědecký bulletin. Praha, 1981, č. 3—4.
21. Charvát F., Zich F. Prognóza vývoje sociální struktury z hlediska vytváření socialistických společenských vztahů.— Nová mysl, 1985, říjen (zvláštní číslo).
22. Rudé právo, 1980, 14 III-příloha.
23. Dvořák J. Přehled od extenzivního rozvoje národního hospodářství k intenzivnímu jako faktor výstavby rozvinutého socialismu v ČSSR.— Nová mysl, 1985, duben (zvláštní číslo).
24. Sčítání lidí, domů a bytů k 1 II 1980. Československá statistika. Skupina A. Praha, 1983.
25. Šlička K. Robotnícká trieda v etape budovania rozvinutej socialistické spoločnosti.— Sociologia, 1980, č. 5.
26. Dělnicko-rolnický svazek v současné etapě rozvoje socialistického zemědělství. Praha, 1977.



ГРИШИНА Р. П.

К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ ГОСУДАРСТВЕННО-МОНОПОЛИСТИЧЕСКОГО КАПИТАЛИЗМА В БУРЖУАЗНОЙ БОЛГАРИИ

Статья посвящена ряду аспектов проблемы формирования государственно-монополистического капитализма (ГМК) в буржуазной Болгарии, определявших в большой степени его своеобразие¹. Опыт изучения советской историографией государственно-монополистических процессов в странах, принадлежащих к различным регионам земного шара и находящихся на разных, в том числе низких, уровнях экономического развития, позволяет, по мнению автора, найти новые подходы к теме.

Остановимся кратко прежде всего на двух основополагающих моментах. О них уже приходилось писать ранее (см. [1]). Как установлено в марксистско-ленинской литературе, прямой связи между уровнем развития экономики и степенью развития ГМК вообще не существует. Опираясь на учение В. И. Ленина об империализме и на открытый им закон неравномерности экономического и политического развития капитализма в эпоху империализма, П. Тольятти указывал в 30-е годы на ошибочность характеристики капитализма, например, в Италии лишь на основании учета большого удельного веса сельского хозяйства в экономике и при недостаточном внимании к данным об органическом строении капитала, росту монополизации и т. п. Если по первому показателю Италия не могла быть зачислена в группу развитых капиталистических стран, то по второму она находилась в группе государств с наиболее высокой концентрацией промышленности и банковского капитала [2, с. 13]. Последующие исследования вполне подтвердили справедливость этих оценок в отношении Италии периода господства фашизма в ней. Советский исследователь Б. Р. Лопухов пишет, что в Италии несмотря на сравнительно отсталые социально-экономические отношения монополистический и государственно-монополистический капитализм развивался гораздо активнее, чем в других, экономически ушедших вперед странах [3, с. 4].

После второй мировой войны развитие государственно-монополистических процессов в капиталистических странах происходило особенно интенсивными темпами. В 50—60-е годы ГМК достиг высокой степени зрелости, его свойства стали проявляться более обнаженно. И в новых условиях нашло подтверждение отмеченное выше отсутствие прямой зависимости между степенью экономического развития страны и уровнем ГМК в ней, о чем свидетельствуют, например, данные, полученные коллективом советских авторов на основе многомерного статистического анализа народных хозяйств несоциалистических стран, относительно перераспределяемой государством доли национального дохода. Этот показатель составил на начало 70-х годов для США — 30%, Новой Зеландии —

¹ При этом роль иностранного капитала в развитии государственно-монополистических процессов специально не рассматривается.

37, ФРГ — 32, Малайзии — 35, Ганы — 29% [4], т. е. в группе с высоким показателем перераспределяемой государством части национального дохода оказались страны самого различного социально-экономического уровня. Но таково же положение и в группе стран, где этот показатель сравнительно невысок, в частности, для Японии он составлял 16%, Швейцарии — 10, Непала — 8% [4].

Конечно, по одному этому показателю нельзя судить о всей совокупности факторов, характеризующих уровень ГМК в той или иной стране, но как наиболее общий из всех, он позволяет составить правильное в целом представление о динамике государственно-монополистических процессов [5, с. 21].

Чрезвычайно важно отметить, что эти процессы не обходят стороной и государства, лишь 30—35 лет назад освободившиеся от колониальной зависимости. По европейским меркам многие из них принадлежали к числу слабо развитых и экономически отсталых, в некоторых до недавнего времени сохранялись феодальные и полуфеодальные отношения, капиталистический же уклад был в ряде их еще в утробном состоянии (Иран, Саудовская Аравия, Бахрейн и др.). Однако вследствие, в первую очередь, благоприятных природных условий и общих успехов освободительного движения афро-азиатских стран в последние полтора десятка лет они «сделали скачок в своем экономическом развитии и сейчас уже непосредственно начали интегрироваться по целому ряду аспектов в систему империализма...» [6, с. 30]. Одним из важнейших проявлений указанного скачка является «досрочное» формирование здесь государственно-монополистического уклада. Естественно, неравномерность в развитии базисных структур при этом огромна. Отмечая, что «в самом базисе государственно-монополистический уклад как бы возвышается в виде небоскреба среди одноэтажных домов и лачуг», специалисты оценивают это как одно из уязвимых мест, которое может сыграть «роковую роль» на определенных исторических поворотах [6, с. 30].

Благодаря каким же факторам становится возможным «досрочное» формирование ГМК? Здесь мы подходим ко второму основополагающему для изучения ГМК моменту, а именно к вопросу о роли государства в его системе.

Большое внимание специально ему уделял В. И. Ленин. Анализируя новые явления в экономике и политике капиталистических стран в годы первой мировой войны, он подчеркивал возросшее значение государства. «Вопрос о государстве приобретает в настоящее время, — писал он в августе 1917 г., — особенную важность и в теоретическом и в практически-политическом отношениях» [7, т. 33, с. 3], связывая это непосредственно с тем, что «империалистическая война чрезвычайно ускорила и обострила процесс превращения монополистического капитализма в государственно-монополистический капитализм» [7, т. 33, с. 3]. Суть процесса В. И. Ленин видел в чудовищном угнетении «трудящихся масс государством, которое теснее и теснее сливается с всесильными союзами капиталистов...» [7, т. 33, с. 3].

Развитие империализма в последующие десятилетия сопровождалось дальнейшим возрастанием роли государства. Участники научно-теоретических конференций, прошедших в ряде социалистических стран в 60-е годы, на основе анализа интенсивного роста государственно-монополистических процессов после второй мировой войны в капиталистических странах отмечали сложность внутренних связей в системе ГМК и подчеркивали, что роль государства в ней не сводится к послушному выполнению воли монополий; государство сохраняет определенную самостоятельность и в случае необходимости идет на ущемление интересов отдельных групп финансовой олигархии во имя общих интересов класса капиталистов, во имя сохранения капиталистического строя как такового. Поскольку в основе государственно-монополистических процессов лежит развитие производительных сил, рост и концентрация производства и капитала, что в целом и ведет к необходимости регулирования экономики в масштабе всей страны, государство, стоящее на службе монополий,

превращается в необходимый элемент воспроизводства капиталистической системы, оказывает реальное влияние на экономические процессы, при этом его регулирующее воздействие становится все более ощутимым [8, с. 69].

Повышение роли буржуазного государства в развитии ГМК, в стимулировании последнего с помощью политических средств хорошо просматривается на современном этапе существования мировой капиталистической системы, что связано с усилением ее противоборства с мировой системой социализма. Да и прежде государство, конечно, не было пассивным элементом ГМК, о чем свидетельствует опыт хотя бы Германии начала XX в., которой приходилось догонять в экономическом отношении соседние страны. Об этом говорит и такой пример: после второй мировой войны позиции капитализма в Западной Европе были ослаблены в значительно большей степени, чем в США, и монополистическая буржуазия европейских стран, приспособляясь к новой обстановке, раньше и в более широких масштабах прибегла к государственно-монополистическим методам; в результате по степени развития государственно-монополистического предпринимательства, удельному весу перераспределяемой государством части национального дохода, доле государства в общем объеме капиталовложений и, наконец, по степени государственно-монополистического регулирования США оказались позади не только Западной Германии, Англии, Франции, Италии, но также и ряда менее крупных стран Западной Европы [5, с. 22].

На современном этапе своеобразие пути ряда развивающихся стран капиталистической ориентации позволяет говорить о роли государства в них уже как о решающем факторе стимулирования государственно-монополистических процессов. Анализируя положение в группе освободившихся от колониальной зависимости стран Азии, советский исследователь Н. А. Симония пишет: традиционный (западный) путь формирования ГМК был обычно таков: частный капитал — частная монополия — ГМК; «но разве нельзя себе представить движение „с другого конца“, когда именно государство, заимствуя уже существующие, „готовые“ модели, берет на себя функцию ускоренного формирования ГМК?» [9, с. 19].

Чем вызвана такая постановка вопроса? Н. А. Симония отмечает, что ни одна из современных освободившихся, экономически отсталых стран не может позволить себе 300, 200 или хотя бы 100 лет следовать по пути «классического» капитализма. Если такая страна не выдвигает перед собой социалистической перспективы, перед ней встает вопрос о необходимости и неизбежности «каких-то иных, неклассических вариантов капиталистического развития» [9, с. 17]. На примере «лидирующей», т. е. наиболее развитой группы стран Востока, уже на первой постколониальной фазе развития стало очевидно, что национальному частному капиталу в одиночку не справиться с гигантской задачей преодоления многоукладности и вековой отсталости и что местная буржуазия даже при максимально благоприятных условиях все равно не сможет решить коренных задач, стоящих перед этими государствами, — за это время передовые страны уйдут далеко вперед. Тезис о том, что буржуазия стран Востока опоздала родиться, пишет Н. А. Симония, имеет под собой веские основания. Таким образом, отмечает он, чисто теоретически для тех азиатских государств, которые, оставаясь в рамках капиталистической формации, пытаются решить проблему экономической самостоятельности, представляется лишь один «выход» — скачок через фазу частнохозяйственного капитализма в фазу специфического (не только по своему генезису, но и по некоторым важным чертам) ГМК [9, с. 18]. Это не означает полного отрицания частнохозяйственного капитализма, который, возможно, будет даже количественно расти на фазе ГМК, «но ходом исторического развития он лишен уже системообразующей способности...» [9, с. 18].

Важно, что в данном случае речь идет не только о рассмотрении проблемы в теоретическом аспекте. И на практике, продолжает Н. А. Симония, в целом ряде стран Востока мы видим сегодня, что государство все

чаще и все шире выступает непосредственным агентом общественно-производственного организма [9, с. 19]. Среди намечаемых автором возможных вариантов формирования ГМК в капиталистических странах Востока большой интерес представляет первый, как базирующийся на сравнительно развитых капиталистических структурах и потому, думается, имеющий не специфически восточное, а более общее значение. Он характерен для государств, довольно далеко продвинувшихся по пути раннекапиталистического развития и обладавших достаточно консолидировавшимся частнокапиталистическим укладом к моменту достижения политической независимости и в первые годы после ее достижения (Индия, Шри Ланка, Сингапур). Здесь «в качестве системообразующего фактора, того стержня, вокруг которого конденсируются элементы будущего ГМК», выступает государственно-капиталистический уклад [9, с. 20].

Такая же роль принадлежит государственно-капиталистическому укладу и в двух других группах стран, но там, по-видимому, в гораздо большей степени он сохраняет местное своеобразие. Так, по мнению Н. А. Симонии, в странах, находившихся к моменту освобождения на самых начальных этапах раннего капитализма, где частнокапиталистический уклад слаб, в роли системообразующего уклада может выступать так называемый бюрократический государственный капитализм. Что же касается государств с «утробным» вплоть до недавнего времени состоянием капиталистического уклада, то наличие богатых природных ресурсов, нефти в первую очередь, позволяет создавать новые отрасли опять-таки в рамках государственного сектора. О тенденциях развития последней группы стран свидетельствует максимально форсируемое государством становление частного капитала, «выращивание» собственных капиталистов при одновременном сращивании государственного и частного предпринимательства и интеграции формирующихся мини-империалистических элементов с транснациональными корпорациями и мировой системой империализма в целом [9, с. 20]. Важно подчеркнуть, что централизация капитала здесь «происходит на весьма ранних или даже самых ранних фазах капиталистической эволюции — и не в результате стихийной конкурентной борьбы, органически присущей частнохозяйственному капитализму, а вследствие целенаправленной деятельности абсолютной политической власти» [6, с. 30].

Предметом исследования Н. А. Симонии является «большая группа стран Востока» современной эпохи — «эпохи перехода от капитализма к социализму в условиях НТР» [9, с. 18]. Наблюдая за развитием этих государств, имевших общую колониальную предысторию, в рамках того периода капитализма, когда все его свойства и черты проявляются наиболее резко и обнаженно, советский ученый-обществовед сумел в переплетении сложных общественно-экономических структур Востока, обремененных множеством «стертых», нечетко выраженных форм, выявить главную, ведущую тенденцию их развития, обосновал саму возможность формирования ГМК «с другого конца».

Но предложенный А. А. Симонией подход, как представляется, имеет не узко восточное, а гораздо более широкое региональное и временное значение, и, в частности, может, на наш взгляд, быть применен к периоду более раннему и к странам несколько иного уровня развития, а именно: к ряду государств Центральной и Юго-Восточной Европы межвоенных лет, в том числе к буржуазной Болгарии. В этом отношении примечательно общее наблюдение другого советского историка — Н. В. Сивачева. «Активность двух субъектов ГМК — монополий и государства, — пишет он, — развертывалась неравномерно. В более спокойные для буржуазии моменты огосударствление шло в основном подспудно, а в кризисные времена принимало форсированный темп. Соответственно, в первом случае на авансцене более заметны были монополии, во втором — государство. До 1929 г. более активную роль играла частномонополистическая концентрация, в 1929—1945 гг. — государство» [10, с. 91].

В самом деле, и указанная группа современных государств Востока, и большинство стран Центральной и Юго-Восточной Европы периода

между двумя мировыми войнами принадлежали к одной и той же системе — капиталистической и находились в исторически сходной ситуации. Ведь в 20—30-е годы перед многими странами Центральной и Юго-Восточной Европы стояли, по существу, те же проблемы, что и перед современными развивающимися странами, — проблемы, обусловленные их экономической отсталостью. Конечно, здесь все было другим: и национальный колорит, и эпоха, и степень продвижения этих стран по пути капитализма, и уровень задач по преодолению экономической отсталости. Однако общее диктовало свои законы. Общим для обеих групп стран было и их периферийное положение в рамках капиталистической системы, противоречивое по самой своей сути. С одной стороны, находящиеся на периферии государства испытывают мощное влияние крупных, модернизированных капиталистических центров, втягивающих их в свою орбиту и стимулирующих в них рост высших форм буржуазного способа производства, т. е. развитие капитализма вверх, по вертикали; а с другой стороны, их удаленность от этих центров вовсе не способствует форсированному росту в них частнокапиталистического уклада и его скорой победе во всех структурах народного хозяйства, т. е. развитию капитализма вширь, по горизонтали. В решении стоящих перед слаборазвитыми странами задач и в преодолении многих дополнительных сложностей и противоречий, связанных с их положением, в том числе во всех сферах надстройки, они вынуждены полагаться преимущественно на собственные силы, ибо, помимо прочего, им приходится испытывать на себе несправедливость партнерства типа слабый — сильный, сталкиваясь с тем, что «старший» партнер никогда не стремится оказать «младшему» действительную помощь². Конкретно под собственными силами подразумевается прежде всего национальное государство, его политика, в данном случае экономическая и, в частности, направленная на продуцирование ГМК, как важнейшего и активнейшего ее элемента.

Сквозь призму вышеизложенного попытаемся рассмотреть некоторые стороны развития капитализма в Болгарии и таким образом подойти к вопросу о своеобразии формирования здесь ГМК.

1. *К вопросу об ускоренных темпах развития капитализма в Болгарии.* Становление капиталистического способа производства в Болгарии в эпоху после освобождения в 1878 г. происходило в целом по «классической модели», хотя и с большим своеобразием. Отмечая черты общего и специфического, некоторые болгарские историки считают возможным говорить о периоде первоначального накопления капитала и о промышленном перевороте в Болгарии, как о процессах завершенных и следовавших один за другим. Так, С. Дамянов пишет, что в Болгарии, как и на Балканах вообще, «мы не увидим массовой экспроприации мелких сельских производителей в масштабах английского «огораживания». Не встретим и указанных К. Марксом типичных форм первоначального накопления (вроде голландского и английского) — колониального грабежа и морского разбоя. И поэтому вся история первоначального накопления и последовавшего затем превращения торговца и ростовщика в капиталиста-промышленника протекала в балканских странах значительно более быстрыми темпами» [12, с. 49]. В результате процесс первоначального накопления завершился здесь в общих чертах, по мнению С. Дамянова, уже в конце XIX в., а в первые полтора десятилетия XX в. произошел и промышленный переворот. В подтверждение приводятся конкретные данные. Так, в Болгарии на рубеже веков было уже 116 промышленных предприятий (фабрик), а в следующие 12 лет возникло 447 новых, что составляет 250% роста. По оценке С. Дамянова, «это были современные предприятия, оснащенные механической двигательной силой» [12, с. 49—50]. За период 1904—1912 гг. число рабочих в ценовых предприятиях выросло более чем вдвое, достигнув почти 13 тыс., а производимая ими годовая продукция более чем утроилась по стоимости.

² Некоторые авторы пишут и о неспособности капитализма преобразовать социально-экономические структуры освободившихся стран в капиталистическую формацию вообще, в чем и состоит «суть вынужденного затычного структурного кризиса» [11, с. 44].

Важным фактором был быстрый рост капиталовложений в промышленность. Если в 1894 г. они составили 10,9 млн левов, то в 1912 г. — 87,6 млн, т. е. «почти в 9 раз больше» [12, с. 50]. В подсчете очевидна ошибка, но и восьмикратное увеличение — безусловно, значимый показатель действительно высоких темпов продвижения Болгарии по капиталистическому пути.

И в последующие годы, пережив три войны и тяжелые поражения в двух из них, послевоенную разруху и крупные внутривластные потрясения, буржуазная Болгария снова оказалась способной на высокие темпы экономического развития. Например, за 1923—1929 гг. общий объем промышленного производства увеличился на 88%, что означает, что среднегодовой прирост его был выше, чем в ряде капиталистических стран в то время [13, с. 334]. Были построены новые крупные предприятия — комбинат «Текстил», судовой верфь «Кораловаг», вагоноремонтный завод, кооперативный сахарный завод, несколько тепло- и электростанций, введены в строй новые очереди цементного завода «Гранитоид» и химических заводов в Костинброде. Городские электростанции заработали в ряде провинциальных городов.

Уже в начале XX в. в Болгарии появились первые монополистические объединения, рождался финансовый капитал и формировались финансовые центры (правда, в значительной своей части на основе иностранного капитала), а в годы первой мировой войны возникли и элементы ГМК.

Как видим, темпы развития были довольно высокими, именно на этой основе и возникает представление о «болгарском феномене» [12, с. 62]. Действительно, принадлежа к европейской капиталистической системе, Болгария следовала по пути буржуазного развития, «осваивая» одну за другой его стадии и чем дальше, тем все меньше отставая в этом во времени от передовых стран. Но плата за такие скоростные методы оказывалась невероятно большой, ибо в Болгарии ни одна капиталистическая стадия не успевала созреть в полной мере и каждая последующая оказывалась недостаточно обеспеченной предыдущей (в этом отношении оценки С. Дамянова представляются завышенными). Конечно, капитализма в «чистом виде» вообще не бывает, и наложение, переплетение стадий его развития — явление обычное. Однако принципиально важно, сколь масштабен «заезд» одной из них в другую. В болгарском случае капитализм, несмотря на бурные темпы и высокие показатели своего развития, не мог и не смог охватить всех отраслей промышленности, не говоря уже о народном хозяйстве в целом. «Скоростные методы» были одной из главных причин деформации структуры экономики Болгарии, от которой она не сумела избавиться до конца своего буржуазного существования. Деформация выражалась, в частности, в сильных диспропорциях в отраслевой структуре народного хозяйства (в конце 20-х годов соотношение продукции промышленности и сельского хозяйства по стоимости все еще составляло 33 : 67 [13, с. 335], в структуре промышленности (преобладание отраслей легкой промышленности, которая давала почти 90% продукции ценовых предприятий [14, с. 380—381]). Естественно, при столь одностороннем, несбалансированном, ущербном развитии Болгарии не могло быть и речи о действительном ее приближении к решению задачи преодоления экономической отсталости.

Впрочем психологически, по крайней мере до начала 30-х годов, буржуазия чувствовала себя на подъеме. Многократное увеличение ряда экономических показателей и прежде всего собственных доходов внушало буржуазии оптимизм, тем более что она постоянно ощущала поддержку со стороны государства, которое стояло на защите ее интересов с первых своих самостоятельных шагов.

2. *Роль протекционистской политики.* Основой государственного сектора, начавшего формироваться сразу после Освобождения, стал железнодорожный транспорт. В конце XIX — начале XX вв. Болгарию, как и другие балканские страны, охватила лихорадка железнодорожного строительства — именно в это время и была в основном создана современная железнодорожная сеть на Балканах. Если Болгария при Освобо-

дении имела всего две железнодорожных линии общей протяженностью 250 км, и к тому же это была иностранная собственность, которую пришлось выкупать, то в 1913 г. железнодорожная сеть страны насчитывала уже почти 2 тыс. км [12, с. 62].

Государственному сектору экономики принадлежали предприятия по добыче каменного угля в Пернике, где, кстати, было сосредоточено исключительное по масштабам Болгарии количество рабочих — свыше 1000, другие (горные) рудники. Государственная собственность возникала прежде всего в отраслях, считавшихся малорентабельными и трудоемкими, в том числе в производстве электроэнергетики, в металлической промышленности. В 1921 г. государственные предприятия, составлявшие всего лишь 1,6% всех крупных промышленных заведений Болгарии, давали 8,4% годового производства продукции; на их долю приходилось 17,14% всех капиталовложений в крупные предприятия, 29,4% всех рабочих, 34,2% энергоёмностей [14, с. 488]. Появилась и такая разновидность государственной собственности, как муниципальная: в 20-е годы почти в каждом крупном городе имелось по несколько муниципальных мастерских — ремонтных, пошивочных и других. От выполнения заказов только своей общины они постепенно переходили и к выполнению частных, превращаясь фактически уже в небольшие фабрики. Пошивочная мастерская при Софийской общине, например, была оснащена 22 электрическими машинами; в технической мастерской было занято 124 рабочих, в инженерной — 220 рабочих и 60 чиновников [15, с. 8]. Специфической формой государственных предприятий стали в 20-е годы мастерские при тюрьмах. В типографии при Софийской центральной тюрьме работали 25 заключенных, трикотажная мастерская здесь была оснащена 4—5 современными машинами; к работе на предприятии по деревообработке при Шуменской окружной тюрьме было привлечено 40 заключенных и т. п. [15, с. 6].

Постоянно расширявшийся государственный сектор [16, с. 98—100] являлся материальной базой для покровительственной экономической политики буржуазного государства, направленной на создание максимально благоприятных условий для развития класса капиталистов. Эта покровительственная политика была многоплановой: предприниматели пользовались налоговыми привилегиями, сниженными тарифами при перевозках по железной дороге, бесплатными участками земли для строительства, по сниженным ценам им продавался уголь, они имели преимущества при распределении государственных поставок и возможность беспопытного ввоза машин, горючего, сырья. С конца XIX в. до 30-х годов XX в. появилось несколько законов о поощрении местной промышленности, причем те из них, которые были приняты в 20-е годы (1924, 1925, 1928), все более и более нацеливались на поощрение именно крупной промышленности [17, с. 41]. В 1929 г. льготы, полученные предпринимателями за счет государства, оценивались не менее чем в 1 млрд левов, что составляло $\frac{1}{8}$ доходной части бюджета [13, с. 331]. Буржуазное государство брало на себя и регулирующую развитие отдельных отраслей промышленности функцию, определяя, например, минимальные размеры новых предприятий, которые могли быть открыты в той или иной отрасли. Объявлением ряда отраслей «пресыщенными» и, следовательно, запрещением направлять в них новые капиталовложения государство спасало от излишней острой конкуренции тех, кто уже имел «дело», и в то же время пыталось переориентировать предпринимателей на другие отрасли. Одновременно осуществлялся значительный по болгарским масштабам импорт машин и оборудования, проводилось техническое переоснащение ряда предприятий. Таким образом, во второй половине 20-х годов обозначился курс на индустриализацию, хотя и ограниченную [13, с. 381]. При этом поощрялось развитие монополий, картелирование, и нередко — за счет интересов мелких производителей. Так, во второй половине 20-х годов правительство фактически приостановило деятельность наиболее сильных кооперативных объединений по торговле зерном, что содействовало быстрой монополизации этого вида торговли в руках крупного капитала; подобное произошло

с экспортной торговлей табаком и яйцами [16, с. 70]. Всего по данным на 1931 г. было картелировано 18,6% всей цензовой промышленности и большая часть экспортных фирм.

Все это свидетельствует о масштабности политики болгарского буржуазного государства по «фабрикации фабрикантов», о его активной роли в этом отношении. И здесь хотелось бы обратить внимание на два следующих аспекта проблемы:

1) Болгария была страной с многоукладной структурой базиса. Вокруг государственно- и частнокапиталистического укладов плескалось необозримое, по словам Д. Благоева, мелкобуржуазное море. Мелкотоварный уклад господствовал в сельском хозяйстве, в ремесле, в мелкой торговле. О характере ремесла свидетельствуют, в частности, такие данные: в годы временной и частичной стабилизации капитализма около $\frac{1}{3}$ владельцев мастерских имели одного-двух рабочих, многие не имели их вовсе [13, с. 335].

Историческим предназначением частнохозяйственного уклада в капиталистическом обществе является «перемальвание» мелкотоварного уклада. И действительно, теснимые государственными и частными промышленными предприятиями ремесленники-кустари не выдерживали конкуренции, разорялись. Немалую роль в этом процессе играла и политика «фабрикации фабрикантов». Однако несмотря на быстрые темпы развития капитализма в Болгарии и его искусственное подстегивание с помощью выше названных мер, мелкотоварный уклад продолжал оставаться преобладающим. В сельском хозяйстве его границы были вообще трудно обозримы, к тому же там оставалось немало хозяйств, работавших только на удовлетворение собственных потребностей, т. е. хозяйств патриархального типа. Решительному сокращению мелкотоварного уклада в кустарной промышленности и мелкой торговле препятствовало постоянное воспроизводство мелких собственников. В материалах Софийской торгово-промышленной палаты за 1929 г. констатировалось: «ежегодно растет число самостоятельных мастеров» [18, с. 5]. Лишь в 1932 г. и только по разделу «индустрия» наметился перелом: впервые доход от промышленности превысил доход от ремесленного производства [19, с. 265]. В основе этого «достижения» было массовое разорение ремесленников под ударами экономического кризиса, обрушившегося сильнее всего именно на мелкотоварное производство.

2) Болгарский пример подтверждает обоснованность тезиса о том, что многоукладность порождает в обществе центробежные тенденции [9, с. 18]. Это выразилось, в частности, в системе политической организации господствующего класса Болгарии, характеризовавшейся множеством буржуазных и примыкавших к ним мелкобуржуазных партий, враждовавших между собой, а также отсутствием единства внутри каждой из них, нередкими переходами части членов из левого крыла в правое и наоборот, из одной партии в другую.

Эта картина отражала базисное соотношение укладов. В самом деле, ведь и в 30-е годы слой потомственных капиталистов (третье—четвертое поколение) был здесь очень невелик. Основная же масса буржуазии была молода по своему происхождению, ей недоставало образования, не говоря уже о навыках политической деятельности. Ряды ее значительно пополнялись в иные, особо благоприятные для наживы, периоды за счет разбогатевших торговцев, государственных служащих и других категорий населения. Так, после первой мировой войны в Болгарии заговорили, как о целом слое, о «новой», «конъюнктурной» буржуазии, использовавшей для своего обогащения тяжелое для одних и выгодное для других военное время. Частично класс пополнялся за счет бывших ремесленников — самостоятельных хозяев, сумевших в условиях курса на индустриализацию механизировать свое производство (в деревообработке, например) и превратить кустарную мастерскую в фабричное предприятие.

Естественно, эти новые богачи стремились вкладывать капитал в отрасли, где он быстрее оборачивался, а такими были в первую очередь торговля, банковское дело, т. е. непродовольственная сфера. Промышленники

же были связаны все-таки преимущественно с мелким производством — фабрика с 10-ю рабочими по болгарским условиям считалась средним предприятием [13, с. 402]. Ясно, что такая буржуазия не могла иметь широкого политического, да и экономического кругозора. Отсюда ее политическая слабость, отсутствие гибкости, маневренности, неумение политически организоваться.

На политический и экономический тонус болгарской буржуазии оказывала влияние и обратная сторона масштабной протекционистской политики, порождая в ней иждивенческие, эгоистические настроения, своеобразный экономический и социальный инфантилизм и безответственность. Неслучайно называли болгарскую буржуазию хищнической и паразитической. В наибольшей степени эти ее качества проявились в годы, последовавшие за экономическим кризисом 1929—1933 гг.

3. *Особенность ГМК в буржуазной Болгарии.* Годы экономического кризиса и примерно два последующих года оказались необычайно сложными и в экономической и в политической жизни Болгарии. В той и другой сферах этот период (первая половина 30-х годов) стал переходным от прежнего состояния к некоему новому, т. е. на его протяжении действовали различные, часто противоположные тенденции, пока не определились более или менее четко доминирующие.

Кризис способствовал дальнейшему развитию капитализма: сокращению мелкотоварного производства и укреплению отдельных групп буржуазии, главным образом финансовых тузов, концентрации и централизации капитала, росту элементов ГМК, включая деятельность крупного государственно-монополистического учреждения — Дирекции «Храноизнос» и энергичное вмешательство государства в хозяйственную область. Послекризисные условия существования буржуазии характеризовались также усилением дифференциации внутри класса и соответственно ухудшением положения значительной по численности более слабой его части. Этому содействовали, помимо прочего, отлив иностранного капитала за границу (средства изымались как из банков, так и из предприятий), а также фактическое прекращение действия закона о поощрении местной промышленности. Определенную роль сыграло и антикартельное законодательство 1931 г., затруднившее на время деятельность монополий, хотя они и находили способы обходить его. В 30-е годы количество картелей увеличилось, достигнув 30, но по сравнению с 20-ми годами они стали мельче [13, с. 362].

Одновременно произошло некоторое ослабление позиций буржуазных партий. В результате государственного переворота 19 мая 1934 г. к власти пришла группировка политиканствовавших военных и интеллигенции, которые стремились установить в стране авторитарный режим. Все партии и общественные организации, в том числе буржуазные, были распущены, буржуазия как бы потеряла представительство на политической арене.

Это положение не собирался менять царь Борис III, начавший с 1935 г. энергично действовать с целью сосредоточить полноту власти в своих руках. Вскоре он достиг этого, опираясь на лидеров запрещенных буржуазных партий, которые надеялись, что царь восстановит действенные конституции и сами партии. Однако перед монархом тут же встала трудная задача укрепления своей диктатуры, поскольку она не имела сколько-нибудь широкой социальной базы. Да и политически ее опора была довольно узкой, к тому же среди нефашистской части буржуазии, стремившейся к восстановлению атрибутов буржуазной демократии и безуспешно требовавшей этого от монарха, все большее распространение получали оппозиционные настроения. Убедившись в бесполезности тактики «морального нажима» на царя, буржуазная оппозиция в 1936—1937 гг. отважилась на контакты с Болгарской коммунистической партией, и, как ни робки они были, это были шаги к народному фронту, который представлял большую опасность для формировавшегося в стране монархо-фашистского режима.

Но если по отношению к народным массам и БКП в политике пра-

вящих кругов преобладали в основном репрессивные меры, то к оппозиционной части буржуазии применялись другие методы. В первую очередь — политические манипуляции, в чем царь Борис III проявил себя непревзойденным мастером. Компромиссы, неопределенные обещания, благожелательные жесты — все было направлено на то, чтобы держать лидеров прежних буржуазных и мелкобуржуазных партий как бы на привязи, в постоянном ожидании, что вот-вот монарх благоволит восстановить в стране буржуазную демократию. Но едва ли не основная роль в блокировании оппозиционности нефашистской части буржуазии отводилась экономической политике. Она стала строиться на новых принципах: на смену «хозяйственному либерализму» пришло хозяйственное регулирование со стороны государства. Механизм, задействованный в этом отношении в годы экономического кризиса 1929—1933 гг., был укреплен и расширен. Во второй половине 30-х годов значительно увеличилась сфера деятельности Дирекции «Храноизнос», которая не только влияла на ценообразование, но и перешла к целенаправленному вмешательству в само производство сельскохозяйственной продукции: определяла, в каких районах и какие технические культуры следует производить, какие государственные организации должны закупать и какие именно виды продукции, по каким ценам и т.п. Дирекция установила монопольный режим на закупку ржи и пшеницы по всей стране, затем хлопка и конопли, а с 1939 г. — кукурузы, овса, ячменя. В итоге во второй половине 30-х годов государственно-монополистический сектор во внутренней торговле охватывал более 50% товарооборота сельскохозяйственной продукции [13, с. 396].

Все большие размеры приобретал государственный сектор. В 1939 г. 169 государственных предприятий обеспечивали 8—9% промышленной продукции, росли капиталовложения в них [13, с. 359]. Кроме железнодорожного и водного транспорта, давно находившихся в собственности государства, под государственный контроль был поставлен автомобильный пассажирский транспорт. В области внешней торговли устанавливался обязательный контроль за экспортными операциями, само направление экспортной политики определялось специальным государственным учреждением — Экспортной дирекцией.

На основании нового закона о промышленности, принятого в 1936 г., государство присвоило себе право решать вопрос об открытии новых предприятий. В его полномочия входило также определение конкретного характера производства, технологических норм, разграничение производственных задач отдельных отраслей, содействие картелированию и т. п. На специальную министерскую комиссию возлагалась задача выработки единых типовых размеров и технологических норм для промышленных и ремесленных изделий определенного вида производства. Описания, чертежи и все предписания подлежали одобрению царским указом и становились обязательными для всех производителей. «Пресыщенными» объявлялись, кроме прежних 30-ти, еще около десятка подотраслей промышленности.

Таким образом, государство все в большей мере брало на себя роль регулятора хозяйственной деятельности в национальном масштабе. Царь Борис III и стоявшие за ним наиболее реакционные круги буржуазии направляли экономическую политику так, чтобы дать почувствовать «деловому миру», что его материальное благополучие зависит прежде всего от государства, олицетворенного в полновластном монархе, и что регулирование хозяйственной жизни в максимальной степени отвечает его интересам. И в самом деле, в руках государства находились именно те отрасли, которые обеспечивали процесс капиталистического воспроизводства — от снабжения предприятий сырьем до содействия сбыту готовой продукции. В результате оказывалось, что никогда прежде буржуазия не была так облагодетельствована, как в годы монархо-фашистского режима царя Бориса. Это был фактически сверхпротекционизм, позволявший предпринимателям получать развращающе высокую прибавочную стоимость — до 250%. В итоге в Болгарии, не преодолевшей экономи-

ческой отсталости, при сохранявшемся в масштабе всего народного хозяйства преобладании мелкотоварного уклада и относительной слабости монополий со второй половины 30-х годов форсированно стал развиваться ГМК. Учитывая активную и даже инициативную роль государства в этом процессе, можно и применительно к болгарскому случаю говорить о развитии ГМК «с другого конца».

Разумеется, это был весьма специфический ГМК. Известно, что В. И. Ленин, характеризую развитие государственно-монополистических процессов, усмотревшим которых явилась первая мировая война, в качестве базы их указывал на господство монополистического капитализма, гигантских капиталистических монополий [7, т. 31, с. 443; т. 33, с. 33; т. 35, с. 169]. В Болгарии гигантских монополий мы не найдем, не было там ни трестов, которые сами по себе уже дают, по словам В. И. Ленина, «планомерность», хотя и неполную [7, т. 33, с. 68], ни (за редким исключением) синдикатов, а преобладание среди форм монополистических объединений низшей — картелей свидетельствовало о недостаточном вырвании и развитии здесь монополистической стадии капитализма. Так, в канун второй мировой войны небольшая кучка крупных капиталистов контролировала лишь чуть больше 50% частного капитала и производства, 5 банков держали в своих руках 50,4% капитала всех акционерных центральных и провинциальных банков страны [14, с. 563—564]. Иными словами, и фаза ГМК в Болгарии была, в свою очередь, недостаточно подготовлена и обеспечена предыдущим развитием монополистического капитализма. Именно это обстоятельство позволило государству взять на себя в высшей степени активную роль в стимулировании ГМК.

Однако несмотря на всю свою специфическую вследствие местных условий природу этот ГМК выполнял в экономической сфере те же функции, что присущи ГМК вообще. Ибо если учесть, что В. И. Ленин видел экономическую суть государственно-монополистических процессов, во-первых, в «огосударствлении промышленности» («от монополии вообще перешли к государственной монополии», «от монополии к огосударствлению» [7, т. 31, с. 355]) и, во-вторых, в организующей, регулирующей роли ГМК, в его «планомерности» [7, т. 31, с. 444; т. 34, с. 165], то как раз эти существенные для ГМК явления проявились в Болгарии в достаточной полноте.

Подчеркнем, что, говоря о перерастании монополистического капитализма в ГМК, В. И. Ленин обращал внимание не только на степень монополизации, но и на побудительные к этому перерастанию причины и указывал в качестве таковых на «войну и разруху» [7, т. 34, с. 373], в последнем случае как бы еще и предвосхищая роль мирового экономического кризиса 1929—1933 гг. Последующие события показали возрастающее значение политических факторов в качестве побудительных причин, что особенно характерно, по-видимому, для ГМК, формирующегося в специфических условиях экономической слабости. При этом «верховная задача» ГМК как растущего по «классической модели», так и развивающегося «с другого конца» — фактически одна и та же: обеспечение сверхприбыли монополистам. В самом деле, если вспомнить общее марксистско-ленинское положение о том, что главной целью капиталистических монополий как хозяйственных объединений является извлечение монопольной прибыли путем контроля над рынками, концентрации материальных и технических ресурсов, воздействия на формирование пропорций воспроизводства [20, с. 837], в каком случае они и выступают в качестве системообразующего элемента ГМК, то применительно к буржуазной Болгарии оказывается, что почти все эти конкретные функции взяло на себя государство, и именно с его помощью болгарские монополии, находившиеся в 30-е годы преимущественно в состоянии застоя [13, с. 360], и получали свои сверхприбыли. Согласно подсчетам Ст. Цонева, первым в болгарской историографии комплексно исследовавшего государственно-монополистическую систему Болгарии, доля «огосударственной», т. е. перераспределявшейся государством части

национального дохода страны, составляла в 1924 г. — 22,9%, в 1935 г. — 27,4, а в 1942 г. — 35,5% [16, с. 119]³. Это говорит о довольно высоком уровне ГМК.

Побудительные причины форсированного развития в Болгарии ГМК во второй половине 30-х годов были преимущественно политического свойства, что дополнительно накладывало на него печать своеобразия уже в области политической. Дело в том, что, принимая государственно-монополистическое регулирование, так называемая нефашистская, оппозиционная буржуазия вынуждена была мириться и с авторитарным режимом царя Бориса. Вплетенная в систему государственно-монополистических отношений, она не решалась перейти на активные антифашистские позиции. Наоборот, ее сопротивление фашизации постепенно слабело, что и требовало правящей группировке.

При слабости массовой базы монархо-фашистского режима и отсутствии у него прочной международной поддержки реакционная группировка во главе с царем Борисом опиралась на развитие государственно-монополистических форм как на главный стабилизирующий фактор, способствовавший централизации политической власти⁴. Это и определяло в значительной степени своеобразие характера ГМК в Болгарии.

В конкретных условиях страны форсирование государственно-монополистических процессов осуществлялось прежде всего в реакционных целях. И это обстоятельство не замедлило сказаться как в политической области, так и в экономической. Индустриализация, сколь ни относительный характер она имела в 20-е годы, была снята с повестки дня. Свою роль в этом отношении сыграло начавшееся в 30-е годы экономическое сближение Болгарии с нацистской Германией, для которой болгарское народное хозяйство представляло интерес только как поставщик аграрно-сырьевых ресурсов. Появившееся в связи с этим ощущение тупиковой для экономического прогресса ситуации усиливало паразитизм болгарской буржуазии. Об этом красноречиво свидетельствуют такие данные: если за 1921—1929 гг. удельный вес производства средств производства (группа А) вырос в стране на 10,1%, то за 1929—1939 гг. — всего на 0,3% [14, с. 580]. К этому можно добавить, что, согласно некоторым данным, из всей капиталистической прибыли, полученной за 20 межвоенных лет и составившей 90 млрд левов, на развитие производства было направлено лишь 13,3%, а остальные 86,7% пошли на непроизводительные цели или были вывезены в виде дивидендов иностранными монополиями [21, с. 28].

В последний период существования буржуазной Болгарии, когда она оказалась тесно связанной с гитлеровской Германией, откровенно грабившей ее хозяйство, эти процессы были доведены до крайности. Страна окончательно лишилась сколько-нибудь благоприятной экономической перспективы.

Опыт монархо-фашистской Болгарии показывает, что при развитии ГМК «с другого конца» важнейшее значение имеют обстоятельства: кто стоит у руля государственной политики и во имя каких целей проводит ее.

ЛИТЕРАТУРА

1. Гришина Р. П. К вопросу о государственно-монополистическом капитализме в буржуазной Болгарии. — В кн.: Кризис политической системы капитализма в странах Центральной и Юго-Восточной Европы (межвоенный период). М., 1982; Гришина Р. П. О некоторых методологических проблемах изучения истории межвоенной Болгарии. — В кн.: Първи международен конгрес по българистика. Доклади. Българската държава през вековете. Т. I. София, 1982.
2. Тольятти П. Лекции о фашизме. М., 1974.
3. Лопухов Б. Р. История фашистского режима в Италии. М., 1977.

³ Соответствующие показатели в Англии после первой мировой войны составили 25%, после второй мировой войны — 33—40% (см. [5, с. 46—47]).

⁴ Немалую роль в процессе централизации политической власти под эгидой монарха играли также внешнеполитические устремления болгарской буржуазии, которые, казалось, приближались к своей реализации по мере ломки во второй половине 30-х годов послевоенного status quo в Европе.

4. Типология несоциалистических стран. Опыт многомерно-статистического анализа народных хозяйств. М., 1976.
5. Государственно-монополистический капитализм. Общие черты и особенности. М., 1975.
6. *Мирский Г., Симония Н., Кива А.* Национально-освободительное движение: некоторые вопросы дифференциации.— Азия и Африка сегодня, 1978, № 6.
7. *Ленин В. И.* Полн. собр. соч.
8. *Расков Н. В.* Государственно-монополистический капитализм. (Очерк теории). Л., 1974.
9. *Симония Н. А.* К вопросу о судьбах капитализма в странах Азии.— Азия и Африка сегодня, 1979, № 2.
10. *Сивачев Н. В.* О некоторых проблемах государственно-монополистического капитализма.— Новая и новейшая история, 1980, № 3.
11. *Яшкин В.* Государственный уклад в многоукладной экономике.— Азия и Африка сегодня, 1979, № 3.
12. *Дамянов С.* Проблеми на индустриалното развитие на балканските страни в края на XIX и нач. на XX в.— Исторически преглед, 1980, № 3.
13. Стопанска история на България. 681—1981. София, 1981.
14. Икономиката на България до социалистическата революция. София, 1969.
15. *Златаров К.* Нелоялната конкуренция за занаятчийството, създавана от обществените работилници. София, 1928.
16. *Цонев Ст.* Държавно-монополистическият капитализъм в България. Варна, 1968.
17. *Весов Д.* Индустриални съглашения. София, 1932.
18. Организиране на занаятчийския кредит. София, 1929.
19. Сто години българска икономика. София, 1978.
20. Советский энциклопедический словарь. М., 1980. Статья «Монополии капиталистические».
21. *Мозеров В. Д.* Экономическая политика Болгарской коммунистической партии в промышленности. Восстановительный период. 1944—1948 гг. Саранск, 1973.



БОРЬБА МЕЖДУ ГЕРМАНИЕЙ И ПОЛЬШЕЙ ЗА ПОМОРЬЕ В НОЯБРЕ 1918 — ЯНВАРЕ 1920 ГОДА

В течение веков западные польские земли были объектом прусской агрессии. Буржуазно-юнкерская Германия стремилась к новым захватам польских земель, но победа Великой Октябрьской социалистической революции исключила возможность возвращения к довоенному положению в польском вопросе. Правительство Советской России признало право польского народа на самоопределение и аннулировало договоры о разделах Польши, что послужило основой для борьбы поляков за восстановление своего государства и его прямой выход к морю.

Борьба Польши за собственное морское побережье была длительной и напряженной. Правящие круги Германии всеми силами старались не допустить воссоединения Западной Пруссии (Поморья) и ее главного города Данцига (Гданьска) с Польшей. По Версальскому мирному договору Польша получила только часть Поморья, образовавшую «Польский коридор», а Данциг с округом был выделен в «вольный город». Эти решения не устраивали ни Германию, ни Польшу и данный регион стал очагом международных конфликтов в 20—30-е годы.

Большой интерес представляет, в частности, история борьбы Германии и Польши за Поморье в период от Компьенского перемирия до вступления в силу Версальского мирного договора. В советской исторической литературе эта проблема специально не рассматривалась, лишь отдельные ее аспекты затрагиваются в работах историков ПНР и ФРГ.

Лозунг о необходимости выхода Польши к морю сформулировал Польский национальный комитет (КНП), созданный руководством буржуазной Национально-демократической партии (эндеков) и находившийся в Париже в качестве признанной западными державами официальной польской организации. В меморандуме президенту США В. Вильсону от 8 октября 1918 г. председатель КНП Р. Дмовский доказывал необходимость воссоединения Поморья (за исключением части полностью германизированных округов) и Гданьска с Польшей [1].

Требования Польши вызвали протесты в Германии, особенно в Западной Пруссии: данцигский магистрат 14 октября заявил, что «Данциг не может принадлежать» будущему «польскому государству... как истинно немецкий» город [2]. Острота ситуации объяснялась тем, что в результате интенсивной прусской колонизации Данциг стал «городом немецкого языка», были германизированы и некоторые другие районы Поморья, хотя местные поляки (кашубы) сохранили национальную самостоятельность, и в их среде день ото дня росли патриотические настроения.

После подписания Компьенского перемирия, по условиям которого немецкие войска отводились к границе на 1 августа 1914 г., имперские и прусские власти предпринимали значительные усилия для сохранения Западной Пруссии в составе рейха. В провинцию началась переброска добровольческих отрядов и солдат с западного фронта. Публиковались

воззвания, призывавшие местное население голосовать за немецких кандидатов в депутаты на выборах в Национальное собрание и грозившие жителям различными бедами в случае присоединения Западной Пруссии к Польше. На предприятиях Данцига проводились опросы, выявлявшие настроения рабочих; высказывавшимся за присоединение города к Польше грозили увольнением [3, 1918, 22 XI; 4, 1918, 30 XI, 12 XII; 5, 13 IV]. Власти инспирировали антипольские выступления. События, произошедшие во время пребывания 17 декабря в Данциге главы прусского правительства П. Гирша, польская пресса охарактеризовала как «погром»: демонстрация против передачи города Польше переросла в избивание местных поляков и уничтожение их имущества [4, 1918, 20 XII; 6].

В такой ситуации поморские поляки начали подготовку к вооруженному восстанию. Их освободительное движение возглавили польские народные советы, в которых преобладали буржуазные политики, подчинившиеся Главному народному совету (НРЛ) в Познани. Не желая вовлекать в борьбу народные массы, они основные надежды возлагали на помощь извне. КНП предполагал доставить в Польшу морем через Данциг польские дивизии под командованием генерала Ю. Галлера, сформированные на территории Франции [7, с. 138]. Западные державы согласились на высадку армии Галлера в Данциге в надежде использовать ее для борьбы с большевиками. КНП же рассчитывал с помощью «галлерчиков» установить контроль над Поморьем, а уж потом бросить их против Советской России. Высадка в Данциге дивизий Галлера должна была стать сигналом к восстанию, о чем свидетельствуют протокол заседания КНП 11 декабря, проходившего с участием представителей Поморья, секретная резолюция о подготовке к взятию власти в Данциге, принятая 25 декабря на конференции данцигских поляков, и другие документы [7, с. 155; 8, с. 267].

Немецкие власти знали о польских намерениях и потому между имперским правительством и магистратом Данцига шел интенсивный обмен мнениями относительно способов воспрепятствовать высадке «галлерчиков» [3, 1918, 21, 24 XII]. Однако главную роль в ее срыве в тот период сыграла борьба за власть между двумя группировками буржуазно-помещичьих кругов — эндеками и сторонниками формально беспартийного «начальника государства» Ю. Пилсудского. КНП, опасаясь, что дивизии Галлера усилят позиции Пилсудского, начал тормозить их отправку в Польшу [5, 5 I].

27 декабря вспыхнуло Великопольское восстание против немецкого господства в Познанщине. Поскольку «галлерчики» не прибыли к его началу, Комиссариат НРЛ, стремясь быстрее договориться с Германией о перемирии, приказом от 3 января 1919 г. запретил переносить военные действия в Поморье [9, с. 90]. Не случайно один из познанских лидеров В. Корфантый в ходе февральских переговоров между НРЛ и немецкими властями заявил, пытаясь выступить от имени кашубов: в Западной Пруссии царит мир, благодаря приказам НРЛ [10]. Это не соответствовало действительности: в Поморье происходили вооруженные столкновения с немецкими солдатами, действовали партизанские отряды в Тухольских лесах, а добровольцы из военной организации Поморья помогали познанским повстанцам. Хотя восстание в Поморье так и не состоялось, его подготовка укрепила патриотизм кашубов, отвлекла немецкие силы от Познанщины и создала более благоприятные условия для деятельности польской дипломатии в отношениях с Антантой [9, с. 92—100].

После начала Великопольского восстания немецкие репрессии в Поморье усилились. Командование XVII армейского корпуса германской армии, размещенного в Западной Пруссии, издало 11 января приказ о запрете собраний поляков и роспуске польских военизированных организаций. Начались обыски и аресты среди кашубов, немецкие солдаты грабили банки и магазины, принадлежавшие данцигским полякам, о чем сообщал 26 февраля глава польской делегации на Парижской мирной конференции Дмовский [8, с. 268—269, 70]. Действия властей зимой 1918—1919 гг. поддержали рабоче-солдатские Советы Западной Пруссии,

не ставшие революционными органами власти. Они выступали за сохранение провинции в составе Германии, хотя и осуждали наиболее откровенные антипольские акции. Великопольское восстание, вызвавшее прилив шовинизма у немцев Поморья, и отделение 1 марта солдатских Советов от рабочих Советов ослабили их влияние. Местной реакции удалось создать широкий антипольский фронт. Его ядром стали немецкие народные советы (буржуазные националистические организации), одним из инициаторов создания которых в конце 1918 г. был публицист Г. Клейнов [11, s. 185—188, 195]. С марта 1919 г. народные советы Западной Пруссии становятся ведущей силой в борьбе за сохранение немецкого господства в Поморье. Они направили центральным властям ряд телеграмм о том, что высадка польских войск в Данциге приведет к «кровавой борьбе» и ослабит роль провинции как «антибольшевистского бастиона». 23 марта немецкие народные советы организовали в Данциге 60-тысячный митинг протеста против высадки войск Галлера [3, 1919, 14, 22 III; 12, 2 IV; 13].

Напротив, польские политические организации стремились доказать обоснованность передачи Поморья под контроль Польши. 4 апреля подкомиссариат НРЛ в Данциге опубликовал воззвание «К совести народов», переданное участникам Парижской мирной конференции. В нем говорилось: «немецкие демонстрации (за сохранение Поморья в составе Германии.— В. З.) дают одностороннее представление», поскольку «голос... поляков задушен военной силой» [8, s. 310—311]. В защиту кашубов выступила польская печать, в их поддержку проводились митинги [5, 8, 10, 14 III, 5 IV]. Узнав о проекте Англии и США превратить Данциг в «вольный город», НРЛ в конце марта возвращается к плану освобождения Поморья с помощью армии Галлера [14].

Но в свою очередь проблема переброски польских войск через Данциг была неразрывно связана с вопросом о будущей принадлежности этого города и всего Поморья, вокруг которого на Парижской мирной конференции разгорелась ожесточенная дискуссия. Конференцией была создана комиссия по польским делам под председательством французского дипломата Ж. Камбона, начавшая работу 12 февраля с изучения меморандума КНП от 8 октября 1918 г. Требования меморандума шли вразрез с позицией Пилсудского, который 6 февраля 1919 г. инструктировал своего представителя в КНП Л. Василевского: польские «границы на западе будут подарком коалиции... (границы) на востоке возьмем собственными силами» (цит. по: [15]). Эндеки же добивались возвращения части польских западных земель, но после декабрьской неудачи с высадкой войск Галлера в Данциге стремились ограничить движение за освобождение Поморья легальными рамками и основные надежды возлагали на благоприятные для Польши решения мирной конференции.

В этой ситуации Дмовский в ноте от 28 февраля согласился ограничить требования Польши частью Поморья с Данцигом, оставляя северо-западные его районы Германии. 1 марта комиссия Камбона начала совещания по польскому вопросу, положив в основу дискуссии эту ноту. Было решено выходу Польши к морю придать характер коридора с польским большинством населения, оставив земли на западе и востоке Поморья, подвергшиеся интенсивной прусской колонизации, Германии. 12 марта комиссия изложила свои предложения в докладе «Совету десяти», призвав дать Польше «коридор» согласно этнографическому принципу, а Данциг, ставший «городом немецкого языка», передать полякам как естественный порт Вислы, относящийся к Польше экономически и географически [8, s. 76, 111—112; 16].

Однако в ходе начавшейся 19 марта в «Совете десяти» дискуссии по докладу Камбона, против передачи Польше Данцига выступил премьер-министр Англии Д. Ллойд Джордж. Свою позицию он мотивировал могущими возникнуть для Польши трудностями в связи с преобладанием в Данциге немецкого населения и опасностью «хаоса» в Германии в случае ухода правительства в отставку при предъявлении ему «суровых» требований [8, s. 121—128; 12, 1 IV]. Британский премьер стремился признать в глазах союзников значение Польши как инструмента в борьбе

с большевизмом, возлагая основные надежды на успех наступления Колчака. В отличие от Франции, которая видела в сильной Польше орудие давления как на Германию, так и на Советскую Россию, Англия делала в большей степени ставку в борьбе с большевизмом на германский империализм, видя в последнем также противовес Франции. Вильсон, озабоченный развитием революционного движения в Европе, стал склоняться к предложению Ллойд Джорджа. Вынужден был «оглядываться» на британского премьера и глава французского правительства Ж. Клемансо, понимавший, что настоящим барьером против большевизма может быть Германия, а Польша — только «занавес». Первым практическим шагом в этом направлении стал отказ союзников от высадки в Данциге дивизий Ю. Галлера. 4 апреля представители Антанты и Германии подписали «Протокол о транспортировке войск генерала Галлера в Польшу» по германским железным дорогам.

Сторонники Пилсудского считали чрезмерной программу польской делегации, предлагали достичь «надежного модус вивенди с Германией», с Англией не «ссориться... о максимальной границе для Польши», а заключить соглашение о «реальной помощи» в борьбе с «большевистским союзом» [17]. Сам Пилсудский в письме Василевскому от 8 апреля предлагал добиваться обмена «сомнительного Гданьска» на Либаву и Ригу [18]. 22 апреля главы западных держав одобрили статьи проекта мирного договора, согласно которым Данциг должен был стать «вольным городом». Это решение вызвало взрыв возмущения в Польше и Поморье, но НРЛ и его подкомиссариат в Данциге удерживали кашубов от вооруженного восстания, которое было якобы не в интересах Польши [8, с. 335]. Не были довольны этим решением и немцы. В Данциге немецкие партии и националистические организации провели 24 апреля почти 100-тысячный митинг протеста против решения союзников [11, с. 201].

В период до подписания мирного договора правительство Германии, используя противоречия как среди союзников, так и в польских правящих кругах, пыталось не допустить создания прямого выхода Польши к морю. Так, министр иностранных дел Германии У. Брокдорф-Ранцау в речи перед Национальным собранием 14 февраля предлагал признать за Польшей выход к морю лишь через «регулирование движения судов по Висле и предоставление в концессию железных дорог и портовых сооружений» Данцига [19]. В проекте директив для германской мирной делегации имперское правительство соглашалось передать Польше только те области, большинство населения которых говорит по-польски, требуя в других районах проведения плебисцита и выступая против плана создания «коридора» [20, S. 194—195]. Упорство Германии принесло определенные плоды — в проекте мирного договора, врученном 7 мая представителям Германии, содержались две важные поправки, внесенные главами западных держав в предложения комиссии Камбона. Во-первых, Данциг превращался в «вольный город». Во-вторых, предмостная зона на правом берегу нижнего течения Вислы (район Мариенвердера) выделялась в плебисцитную зону. Неблагоприятный для Польши исход плебисцита в этом районе с немецким большинством населения означал резкое сужение «коридора» и ослабление польских позиций на Висле [8, с. 168—169, 174—177].

Но и такой проект договора вызвал взрыв националистических страстей в Германии. Не только реакционно-милитаристские круги, но и правительство Веймарской коалиции, выступили против подписания условий мира. В Западной Пруссии представители буржуазных партий вместе с социал-демократами образовали тайный «комитет действия» по проведению акций, «выходящих за рамки простого протеста» [20, S. 312]. Националистически-юнкерские и военные круги восточных провинций избрали другой путь. Еще в декабре 1918 — январе 1919 г. обер-президент Восточной Пруссии А. Батоцкий-Фрибе заявлял, что в случае подписания правительством «плохого мира», восточные провинции Пруссии станут добиваться автономии или даже отделения от Германии. Эти планы поддерживали отдельные прусские политики, командование армейских соеди-

нений, размещенных в восточных провинциях, и немецкие народные советы этих областей [20, S. 163; 21, S. 208—210]. Прусский министр внутренних дел В. Гейне, одобрявший план создания из Восточной и Западной Пруссий и части Познанщины «Восточногерманской республики», считал, что ее образование даст «шанс национального и хозяйственного сохранения восточных провинций, а в дальнейшем — после крушения польского империализма — возвращения их Германии» (цит. по: [22, S. 123]). Образование такого квазигосударства позволило бы вывести эти провинции из-под действия мирного договора и воспрепятствовать присоединению части их земель к Польше.

После вручения Антантой Германии проекта мирного договора, предусматривавшего передачу Польше части Западной Пруссии, сепаратисты решили действовать. Собранные 14 мая в Данциге представители восточных провинций выступили за создание «парламента немецкого Востока» [21, S. 250—255], а объявили об его учреждении 22 мая в Берлине депутаты Национального собрания и ландтага Пруссии от восточных провинций [3, 1919, 22, 23 V]. Один из созданных при нем «комитетов действия» 27 мая высказался за образование самостоятельной от Пруссии «Остмарк» (восточные пограничные области), которая, входя в Германскую империю, была бы связана «добрососедскими отношениями с Польшей» [20, S. 396]. Но немецкие народные советы считали это полумерой. 28 мая на их съезде в Мариенбурге руководитель познанских и западнопрусских народных советов Клейнов заявил о необходимости создания «восточного государства» посредством «германо-польского соглашения». В своей резолюции съезд обещал познанским и поморским полякам «равноправие» и экономические выгоды от пребывания в «восточном государстве» [21, S. 276—283].

Активность националистов в Поморье сопровождалась антипольскими военными приготовлениями (под предлогом опасности наступления на Данциг прибывающих в Польшу дивизий Галлера) и репрессиями (был даже распущен подкомиссариат НРЛ в Данциге) [3, 1919, 1, 3 V; 5, 14, 23 V]. Прусская реакция надеялась спровоцировать Польшу на ответные действия и тем самым оправдать в глазах собственного правительства и западных держав провозглашение «восточного государства». Но спровоцировать поляков на вооруженную акцию не удалось, надежды на изменение проекта мирного договора дипломатическим путем также не осуществились: союзники в ноте от 16 июня отклонили «Замечания на условия мира», представленные Германией 29 мая.

И сепаратисты попытались пойти ва-банк. В ночь с 24 на 25 июня в Данциге собрались представители немецких народных советов, военных и гражданских властей восточных провинций, чтобы провозгласить создание «восточного государства». Ждали только Батоцкого, выехавшего 23 июня в Берлин за указаниями на этот счет. Однако правительство Г. Бауэра (кабинет Ф. Шейдемана ушел в отставку 20 июня) высказалось против сепаратистских акций на востоке Германии. Вернувшийся в Данциг Батоцкий и командующий XVII армейским корпусом генерал О. Белов не осмелились нарушить приказ из Берлина и открыто поддерживать план создания «восточного государства». Предложение представителей народных советов провозгласить это государство без санкции из Берлина не нашло поддержки у обер-президентов восточных провинций, 25 июня призвавших население отказаться от дальнейшей борьбы, которая может «сказаться на наших братьях в рейхе», и подчиниться решению правительства подписать условия мира [21, S. 313—320; 22, S. 156—157; 23]. Аналогичное обращение принял 28 июня на своем заседании в Данциге «комитет действия» «парламента немецкого Востока» [3, 1919, 1 VII].

Запрет имперским правительством военных акций против Польши и сепаратистских действий в восточных провинциях объяснялся, прежде всего, расстановкой классовых сил в Германии. Угар «националистического безумия», окутавший страну в мае, быстро рассеивался. Только националистически-юнкерские и военные круги, некоторая часть крестьян

яинства, зараженная шовинистическими идеями, выступали против подписания мира. Промышленно-финансовая буржуазия пришла к выводу, что его условия «практически приемлемы для экономического восстановления Германии» [24, с. 229]. За подписание мира и против планируемой прусской реакцией авантюры выступили рабочие Германии и Поморья во главе с рабочими Советами [11, с. 204—205, 215]. В такой ситуации имперское правительство и Национальное собрание решили 23 июня подписать мирный договор и запретили сепаратистские акции на востоке страны. Советский инженер Р. Э. Классон, посетивший Германию как раз в эти дни, докладывал В. И. Ленину: «Если бы мир не был подписан, то, по всей вероятности, в Германии наступил бы полный хаос. Народ протестовал против неподписания мира... нужен только мир, а остальное безразлично» (цит. по: [24, с. 284]). С этим не могли не считаться самые оголтелые прусские националисты и милитаристы.

Польскому правительству в мае-июне было хорошо известно о замыслах немецких шовинистов в Поморье и концентрации германских войск в районе Данцигом и польской границей [25, с. 134—135, 157—158], но серьезных мер для предотвращения антипольских акций оно не приняло. Наиболее боеспособные части польской армии были брошены на захват Восточной Галиции (Западной Украины) и белорусских земель. Сложившиеся в результате этого «напряженные отношения с Советской Россией» ослабили оборону польских западных границ, — писал премьер-министру И. Падеревскому представитель познанского командования [26]. Другие польские военачальники считали, что немцы в Западной Пруссии готовятся к обороне, и следует положиться на естественный ход событий [8, с. 342]. При таком положении дел Польша ограничилась резолюциями протеста, принятыми сеймом и на городских митингах [8, с. 335—338, 344—348; 5, 21, 24 V]. 3 июня польская делегация на мирной конференции направила союзникам ноту, в которой приводила исторические и экономические аргументы в подтверждение прав Польши на устье Вислы и отвергала немецкие «Замечания на условия мира» как представляющие опасность для польской независимости в случае их принятия и проведения в жизнь [8, с. 207]. Но и немецкие предложения, и польские возражения западные державы отклонили, поскольку проект мирного договора являлся сложным межимпериалистическим компромиссом.

28 июня 1919 г. Германия подписала Версальский мирный договор: согласно статье 27 и 87 Польша получила 62% территории Западной Пруссии в форме сужавшегося к морю коридора, Данциг с округом провозглашался «вольным городом» под управлением Лиги Наций (статьи 100—102) [27]. Особую нервность в Польше вызвало известие о том, что передача районов Поморья из-под власти Германии произойдет только в январе 1920 г., после вступления в силу Версальского договора. Правительственные и военные круги страны опасались, что Германия будет ждать демобилизации войск Антанты, чтобы военной силой не допустить воссоединения Поморья с Польшей. В силу этого 25 июля Верховным командованием в Варшаве был утвержден «Предварительный план оккупации Западной Пруссии» [25, с. 213; 9, с. 137—138].

Но тенденция к невоенному решению проблемы возобладала, поскольку подготовка к войне против Советской России и обострение отношений с Германией в районе Верхней Силезии не допускали распыления сил. Во второй половине июля и начале августа проходили официальные переговоры между представителем НРЛ С. Лашевским и обер-президентом Западной Пруссии Б. Шнакенбургом, на которых шла речь об участии поляков в политической жизни Поморья до передачи его Польше, амнистии политзаключенным, эвакуации частей XVII армейского корпуса. 13 августа возобновил работу подкомиссариат НРЛ в Данциге, который обе стороны договорились считать временным «консульством» польского правительства. Окончательная договоренность по другим вопросам была достигнута на межправительственном уровне в октябре-ноябре [3, 1919, 18, 26 VII; 4, 1919, 20 VII; 9, с. 142—145, 191]. Переговоры привели к спаду явных антипольских выступлений, но возмущение поляков вызывали

действия немецких властей, которые форсировали вывоз движимого имущества из отходящих к Польше районов Поморья в Германию. Польша заявила протест западным державам, но ограбление экономики провинции продолжалось [9, s. 156—157, 160—161].

Во второй половине 1919 г. из Поморья началась эмиграция в Германию: по данным польских газет на конец года только из Торуня выехало 7 тыс. немцев, а из Западной и Восточной Пруссии вместе взятых — 100 тыс. [5, 1919, 22, 31 XII]. В октябре германское и прусское правительства обратились к немцам Западной Пруссии с призывом оставаться на месте, сохранять немецкие язык и обычаи, изучать польский язык, чтобы быть в состоянии защитить свои права [9, s. 139]. Прусское министерство культуры, науки и просвещения 20 октября запросило у правительства 117 млн марок на развитие немецкой прессы, школьной и культурно-просветительной работы в Познанщине и Поморье [28, S. 364—366]. Германским властям важно было объединить поморских немцев и политически. Первые шаги в этом направлении были сделаны в середине августа: правые буржуазные партии создали в Западной Пруссии «Объединение немецкого народа в Польше», а партия Центра, демократическая партия и СДПГ — «Центральное объединение» [29]. Проводя подобные мероприятия, Германия надеялась сохранить в Поморье немецкое национальное меньшинство, используя его как базу для своего будущего возвращения на эти земли.

В Данциге не пришлось прибегать к такого рода действиям: позиции немцев в управлении городом, его экономической и политической жизнью были подавляющими. Немалую роль в этом сыграл городской магистрат во главе с Г. Замом, ставшим обер-бургомистром в феврале 1919 г. и с этого времени открыто поведшим борьбу за сохранение немецкого характера Данцига [5, 12 III; 3, 1919, 14 V, 7, 25 VI]. В беседе 23 июля с министром внутренних дел Германии Э. Давидом Г. Зам обещал превратить «вольный город» в «бастион германства на востоке», а министр, в свою очередь, заверил, что Германия будет заботиться о Данциге [3, 1919, 24 VII; 4, 1919, 26 VII; 28, S. 203]. Вскоре в городе усилились антипольские действия: магистрат выступил против создания в Данциге польской высшей технической школы, увольнялись рабочие и служащие-поляки, в порту похищались предназначенные для Польши товары [5, 21 VIII; 4, 1919, 3, 19 X, 4 XI]. По согласованию с МИД Германии немецкие националисты после ликвидации в октябре командования XVII армейского корпуса стали создавать в Данциге свои вооруженные формирования [28, S. 317].

Акции данцигских властей вызвали возмущение в польской печати, которая требовала «свести до минимума отношения Гданьска с Германией». Польские народные советы протестовали против действий чиновников магистрата, ущемлявших интересы избирателей-поляков при проведении выборов в городской совет, и ограничения прав польского населения в проекте данцигской конституции [4, 1919, 28 IX, 2, 4, 26, 30 X, 15 XI]. Но страх некоторых польских политиков перед ростом революционного движения в Поморье заставлял их выступать за сохранение на его территории немецких частей «охраны границ» для «поддержания мира», что ослабляло действенность кампании протеста [9, s. 185].

10 января 1920 г. Версальский договор, после ратификации его Германией и четырьмя главными союзными державами, вступил в силу. Через неделю начался поэтапный ввод польских войск в Поморье, завершившийся 4 февраля [4, 1920, 18 I, 4 II]. По соглашению держав Антанты с Германией Данциг с 10 января временно перешел под управление союзников, но до прибытия их уполномоченного власть осуществлял назначенный правительством Германии в конце 1919 г. комиссар данцигского округа Л. Ферстер, способствовавший преобладанию немцев в административном и судебном аппаратах города [30; 31].

В борьбе Германии и Польши за Поморье можно выделить два этапа: 1) ноябрь 1918 — июнь 1919 г.; 2) июль 1919 — январь 1920 г. На первом этапе решался вопрос о будущей принадлежности Поморья. В ноябре-декабре у Польши была возможность попытаться освободить Поморье соб-

ственными силами. Но страх польских эксплуататорских классов перед народной войной за освобождение Поморья и борьба за власть между буржуазно-помещичьими группировками сделали эту возможность неосуществимой. С этого времени польские правящие круги основные надежды возлагают на благоприятные для Польши решения Парижской мирной конференции. Они в этот опасный для судьбы Поморья период ограничились легальной кампанией протеста, «не проявили должной энергии в борьбе за Поморье, недооценивая важность его и Гданьска», — писала 11 июня 1920 г. в статье «Польский центр и Поморье» газета «Dziennik Powszechny». Такая политика польского руководства во многом объяснялась участием страны в антисоветской интервенции, ограничившей ее возможности в борьбе за справедливые западные границы.

Власти Германии с января 1919 г. начали создавать широкий антипольский фронт среди немецкого населения в Поморье. Главную роль в нем играют националистически-юнкерские и военные круги, действующие порой даже вопреки указаниям германского правительства.

Политика империалистических держав в решении проблемы Поморья на Парижской мирной конференции определялась двумя факторами: во-первых, их антисоветской позицией, в силу которой главная ставка в борьбе с большевизмом была сделана на Германию, а не на Польшу; во-вторых, их противоречиями по вопросу о гегемонии той или иной державы в послевоенной Европе. В результате проблема Поморья явилась «разменной монетой» в спорах западных держав, и Польше не были возвращены значительная часть Поморья и Данциг.

На втором этапе, когда принципиальное решение о передаче части Поморья Польше было принято, Германия стремилась сохранить свои позиции в этих областях в максимальной мере, и это ей во многом удалось. Страх польских политиков перед революционным движением в Поморье и подготовка к войне против Советской России обусловили элементы соглашательства с немецкими властями. На руку Германии была также политика западных держав, которые потворствовали немецким усилиям. Воссоединение части Поморья с Польшей и переход Данцига под управление союзников завершили второй этап политики Германии и Польши в этом регионе. Возникла проблема «вольного города Данцига» и «Польского коридора», ставшая впоследствии постоянным и наиболее болезненным источником враждебности в германо-польских отношениях.

«Пока Германия и Польша будут оставаться капиталистическими государствами, они неизбежно... будут вести борьбу... из-за обладания спорными областями, — писал видный деятель польского и международного рабочего движения Ю. Мархлевский. — Только победа социализма... в состоянии разрешить эти „национальные“ вопросы» [32]. Действительно, социализм принес мир на германо-польскую границу. Впервые в своей истории в 1945 г. Польша получила справедливые границы, нерушимость которых является важным фактором европейской безопасности.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Dmowski R.* Polityka Polska i odbudowanie państwa. Warszawa, 1926, s. 509—510.
2. Ein Jahrhundert Deutscher Geschichte. Berlin, 1928, № 131.
3. Vossische Zeitung.
4. Dziennik Powszechny.
5. Robotnik, 1919.
6. Gazeta Poranna. 1918, 24 XII.
7. Protokoły posiedzeń Komitetu Narodowego Polskiego w Paryżu z okresu od 2 października 1918 do 23 stycznia 1919 r. (wybór). — In: Najnowsze dzieje Polski. Materiały i studia z okresu 1914—1939. T. 2 Warszawa, 1959.
8. Sprawy polskie na konferencji pokojowej w Paryżu w 1919 r. Dokumenty i materiały. T. 1. Warszawa, 1965.
9. *Wojciechowski M.* Powrót Pomorza do Polski 1918—1920. Warszawa etc., 1981.
10. *Brożek A.* Integralność polskich kresów zachodnich w rokowaniach z Niemcami w lutym 1919 roku (Berlin—Trewir). — In: Rola Wielkopolski w dziejach narodu polskiego. Poznań, 1979, s. 296—298.
11. *Wojciechowski M.* Rada Robotniczo—Żołnierska w Gdańsku 1918—1920. — In: Z dziejów Rad robotniczo—żołnierskich w Wielkopolsce i na Pomorzu Gdańskim. 1918—1920. Poznań, 1962.

12. *Berliner Morgenpost*, 1919.
13. *Vorwärts*, 1919, 25 III.
14. *Grygier T.* Sytuacja polityczno-wojskowa w zachodniej części Wielkopolski w dniach powstania 1918/1919 r.— In: *Studia z historii powstania Wielkopolskiego 1918/1919*. Poznań, 1962, s. 109.
15. *Zieliński H.* Poglądy polskich ugrupowań politycznych na sprawę ziem zachodnich i granicy polsko-niemieckiej (1914—1939).— In: *Problem polsko-niemiecki w traktacie Wersalskim*. Poznań, 1963, s. 199.
16. *Манусевич А. Я.* К постановке вопроса о западных и северных границах Польши на Парижской мирной конференции.— *Известия АН СССР. Серия истории и философии*, т. 3, № 1. М., 1946, с. 49—53.
17. *Bierzanek R.* Państwo Polskie w politycznych koncepcjach mocarstw zachodnich 1917—1919. Warszawa, 1964, s. 72—74.
18. *Piłsudski J.* Pisma zbiorowe. T. 5. Warszawa, 1937, s. 73.
19. *Brockdorff-Rantzau U.* Dokumente und Gedanken um Versailles. Berlin, 1925, S. 54.
20. *Akten der Reichskanzlei Weimarer Republik. Das Kabinett Scheidemann. Boppard/Rhein*, 1971.
21. *Cleinow G.* Der Verlust der Ostmark. Berlin, 1934.
22. *Schulze H.* Der Oststaat-Plan 1919.— *Vierteljahrshäfte für Zeitgeschichte*, 1970, H. 2.
23. *Berliner Lokar-Anzeiger*, 1919, 26 VI.
24. *Драбкин Я. С.* Становление Веймарской республики. М., 1978.
25. *Archiwum polityczne Ignacego Paderewskiego. T. 2. 1919—1921*. Warszawa etc., 1974.
26. *Wroniak Z.* Sprawa polskiej granicy zachodniej w latach 1918—1919. Poznań, 1963, s. 119.
27. *Версальский мирный договор*. М., 1925, с. 17—18, 49—50.
28. *Akten zur deutschen auswärtigen Politik. 1918—1945*. Aus dem Archiv des Auswärtigen Amtes. Serie A: 1918—1925. Bd. 2. Göttingen, 1984.
29. *Kierski K.* Prawa mniejszości niemieckiej w Polsce.— *Strażnica Zachodnia*, 1923, № 1—3, s. 178.
30. *Zbiór dokumentów urzędowych dotyczących stosunku Wolnego Miasta Gdańska do Rzeczypospolitej Polskiej. Cz. 1. 1918—1920*. Gdańsk, 1923, s. 12—14.
31. *Kurjer Poznański*, 1919, 30 XII.
32. *Марглевский Ю.* Польша и мировая революция.— *Коммунистический Интернационал*, 1919, № 7—8, с. 1045.



СЛАВЯНЕ В ЛАТИНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ VII — НАЧАЛА IX ВЕКА

Двадцать лет назад в историографии ГДР, Чехословакии, Польши, а также Западной Германии почти одновременно появились исследования, объединенные общей темой: представления латинских писателей средневекового Запада о славянском Востоке начиная с VII в. Тема эта оказалась тогда как бы в фокусе разнонаправленных научных поисков европейских медиевистов. Свести воедино и проанализировать немногочисленные, фрагментарные и нередко противоречивые высказывания латинских авторов о славянах было важно и для изучения психологического фона славяно-германских политических отношений, и для выяснения места славянских племен в миссионерской программе католической церкви, и для оценки уровня географических и этнографических знаний каролингско-оттоновского мира о восточных соседях.

Однако работы Э. Доннерта, Д. Бартоньковой, В. Фритце и других при всей своей неоспоримой ценности отнюдь не исчерпали темы. Исследования сосредоточились или на суждениях о славянах в отдельных памятниках [1; 2], или на отдельных аспектах самих этих суждений: географические представления об ареале славянского расселения [3], взгляды церковных авторитетов VII—VIII вв. на способность славян к принятию христианства [4—6] и т. п.

Целостная, систематизированная реконструкция образа славян в латинских памятниках VII — начала IX в., его структуры, внутренних противоречий и тенденций развития остается и сегодня актуальной задачей медиевистики. Разумеется, на ее полное и обстоятельное решение мы здесь не претендуем. Попытаемся лишь весьма сжато обрисовать основные контуры этого образа, каким он предстает перед нами в нарративных источниках латинского Запада в период от начала политических контактов славян с их германскими соседями до завершения первого, раннекаролингского этапа франко-славянских взаимоотношений (около 830 г.).

Политические связи между Франкской державой Каролингов и славянскими княжествами Центральной и Юго-Восточной Европы издавна и во все большей мере привлекают к себе внимание специалистов¹. Именно эти взаимные контакты, ставшие особенно тесными и регулярными при Карле Великом, помогли Каролингам успешно осуществить программу военно-политической экспансии на востоке, объединить под своим скипетром все германские земли. У славян же их общение с Западом способствовало формированию раннефеодальной государственности, приобщению их к более развитой, христианской цивилизации. Но убедительно судить о характере франко-славянских взаимоотношений на рубеже VIII—IX вв. невозможно без выяснения их психологической подоплеки, без выяснения того, что знали и думали друг о друге будущие партнеры.

¹ Подробнее см. [7; 8; 9] и приведенную там литературу.

К сожалению, мы располагаем, как известно, памятниками исключительно западного, франкского или вообще германского, происхождения — выслушать и другую сторону мы не в состоянии. Каролингские памятники — анналы, хроники, «жития», светские биографии — дают в целом интересный и еще мало изученный материал по вопросам этнопсихологии, имагологии, истории этнических стереотипов раннесредневековых народов, как это показал Х. Цеттель в своей недавней книге об «образе норманов» [10]. Мы же ограничимся в дальнейшем рассмотрении тех черт и особенностей восприятия славян в западном мире, которые непосредственно связаны с развитием политических контактов.

Начиная с VI—VII вв. унаследованные от античности, почерпнутые в энциклопедических трудах Орозия и Исидора Севильского традиционные географические представления раннесредневековых авторов о Центральной Европе как о некоем условном пограничье «Германии» и «Скифии» или «Сарматии» постоянно пополняются конкретной информацией об ареале расселения славянских племен. Мы еще вернемся позже к проблеме меняющегося соотношения между традиционными теоретико-географическими понятиями латинской литературы VII—IX вв., с одной стороны, и постепенно накапливаемыми ею новыми хорографическими данными о местах обитания восточных соседей, с другой. Пока же отметим лишь хорошую осведомленность писателей той эпохи, их высокую степень точности в локализации тех или иных славянских политических образований. Основными информаторами для Запада были, конечно, купцы, чьи далекие поездки на славянский Восток уже в начале VII в. засвидетельствованы как археологическими находками (ср. [11; 12]), так и хроникой Псевдо-Фредегара: в эпоху Само вполне сложилась даже институционализированная система разрешения торговых споров между франками и славянами (*placeta, ... de hys et alies intencionibus... iustitia redderetur in invicem* [13, lib. IV, cap. 68]). Другой источник сведений — путешествия миссионеров (поездки св. Аманда, св. Руперта и других к подунайским славянам [14; 15, cap. 1]).

Прежде всего франкские авторы ясно осознают как единство, так и внутреннее разнообразие славянского мира. Жители огромных пространств от бассейна Верхнего Майна до Одера и от низовий Эльбы до Далмации выступают в источниках под общими «родовыми» этнонимами *Sclavi* (*Sclavini, Sclavani, Schlavi*) и *Winidi* (*Wenedi, Winethi, Vionudi*), а их совокупный ареал именуется *Sclavania* [16, a. 789; 17, a. 789] или *Wenedonia* [18, a. 789, 805, 808]. Этноним *Winidi* (во всех вариантах) был, по всей видимости, наиболее принят в германоязычной среде и соответствовал бытовому узусу, тогда как термин *Sclavi* принадлежал скорее миру книжной учености. Славян обычно называли «винидами» (герм. *Winden*), как аваров «гуннами» (ср. у Псевдо-Фредегара: «*Sclavi coinomento Winidi*» и «*Avari coinomento Chuni*» [13, lib. IV, cap. 48, 68]; ср. также в письме Алкуина от 790 г.: «*Sclavos, quos nos Vionudos dicimus*» и «*Avari, quos nos Hunos dicimus*» [19, № 7]).

Среди *Sclavi* писатели выделяют крупные, относительно устойчивые этнические общности — *nationes*, «по языку почти одинаковые, правами же и внешностью весьма несхожие» (Эйхард [20, cap. 15]), с этнонимами «видовыми»: *Abodriti, Wilzi, Sorabi, Beehaimi, Carantani* и др. Выделение этих общностей более низкого таксономического уровня, выступающих одновременно и как более или менее стабильные, территориально организованные этнополитические объединения — *gentes*, чаще всего выражено в формулах типа «*Sclavi..., quorum vocabula sunt Suurbî*» или «*Sclavi qui vocantur Beheimi*» [16, a. 789, 805]. Хотя наряду с ободритами, вильдами или чехами анналы упоминают и еще более мелкие племенные группы (*Linones, Smeldingi, Guduscani* и др.), но в дальнейшие подробности этнической карты славянства не входят. На рубеже VIII—IX вв. знакомство еще только началось, оставаясь пока весьма поверхностным. Ставящая исследователь в тупик чудесная россыпь славянских этнонимов в сочинении Баварского Географа, хотя и относится уже к другой, последующей эпохе, свидетельствует, однако, о быстром накоплении при дворе Каролин-

гов конкретными и точными картографическими знаниями о «тех областях, что граничат с нашими пределами» [21]. Проведенные нами простые подсчеты показывают: если в «Анналах королевства франков» — официальной придворной летописи царствования Карла Великого и Людовика Благочестивого — за период с 780 по 829 годы на 16 упоминаний о «славянах» в целом приходится 46 случаев употребления этнонимов «видовых» («ободриты», «вильцы» и т. д.), то в более поздних Фульдских анналах за такой же период (844—894) эта пропорция составляет уже 16 : 58. Более того, во второй, переработанной редакции Королевских анналов (между 814 и 817 гг.) [22] иногда вместо самого общего обозначения *Sclavi* приводятся уточняющие этнонимы более низкого уровня (так, под 782 г. *Sclavi* заменено на *Sorabi*, а под 799 г. — на *Wilzi et Abodriti*).

Некоторые сведения о языке славян, а также об их внутренних порядках, обычаях и военной тактике, несомненно, проникали на Запад. Неоднократные столкновения франков с вильцами при Карле Великом позволили дополнить переработанную редакцию придворных анналов новыми данными о месте обитания вильцев («на берегу Океана»), о характере власти их предводителя (князь Драговит «далеко превосходил прочих князьков вильцев знатностью рода и авторитетом старости»), наконец, об их «наречии». Анналист мог теперь различать самоназвание вильцев и то имя, под которым они были известны франкам прежде (*propria lingua Welatabi, francica autem Wilzi vocantur* [22, а. 789]). Среди должностных лиц империи замечали и ценили тех, кто, подобно графу Сорбской марки Такульфу, «знал законы и обычаи славянского племени» [23, а. 849]. Были осведомлены писатели начала IX в. и о таких политически значимых обычаях восточных соседей, как их торжественная присяга (*secundum illorum morem*) при взятии на себя какого-либо международно-правового обязательства [24, а. 789]. Наконец, как свидетельствует переданный Псевдо-Фредегаром эпизод с переодеванием посла Дагоберта I к «королю винидов» Само [13, lib. IV, cap. 68], даже знание деталей славянского костюма могло сослужить тогда добрую службу франкской дипломатии.

И все же таких знаний в раннекаролингское время (до середины IX столетия) еще очень мало, они элементарны, к тому же не всегда точны и определены. Так, хотя при обозначении «варварских» властителей в различающихся памятниках термины *dux* и *rex* имеют сходное политико-правовое содержание и практические взаимозаменяемы (ср. суждения об этом В. Шлезингера и М. Хелльмана [25, S. 78—79; 26, S. 55, 58—59]), заслуживает все же внимания тот факт, что, говоря о датских конунгах, анналисты последовательно употребляют титул *rex*, славянских же вождей называют то «королями», то «князьями» (ср.: [10, S. 69—73]). Главное же — эти знания синкретичны, относятся к славянам в целом, без различия стран и племен. Разумеется, к началу IX в. славяне сохраняли множество общих языковых, этнографических и социально-хозяйственных черт и признаков. Но отмеченное обстоятельство говорит и о другом. Славянские земли еще явно не представляли для Франкского государства специального интереса как предполагаемый объект завоевания, и сколько-нибудь подробные сведения о них мало попадают в официальные тексты.

Нельзя не согласиться с Х. Цеттелем в том, что при всей своей хорошей осведомленности о «внешних народах» каролингские авторы сообщали о них только то, что в то время могло интересовать правящую верхушку Франкского государства [10, S. 68]. Памятники содержат, очевидно, лишь те сведения о славянах, какие были необходимы западной элите, чтобы поддерживать с восточными соседями взаимовыгодные союзнические связи, дипломатические и торговые контакты, одновременно удерживая наиболее воинственные племена от нападений на имперские рубежи и натыкая из виду перспективу христианизации славянских земель. Синкретизм представлений писателей той эпохи о славянах может, наконец, указывать и на наличие заметных элементов единства в самом подходе Карла и его двора к отношениям со славянами на всем протяжении восточной границы империи.

Достаточно было бы сравнить скудные данные источников VII — начала IX вв. с развернутыми и довольно подробными сведениями о территории, быте и военном потенциале славян, содержащимися в Фульдских анналах, у Регинона, Видукинда, Титмара, Адама. Тогда, во второй половине IX—XI вв., покорение славянских областей уже становилось для германских королей очередной задачей. В новую эпоху, с одной стороны, требовалась более дифференцированная и детальная информация, а с другой, благодаря многолетнему близкому знакомству с «варварами», стало возможным удовлетворять растущую любознательность.

Именно поэтому при описании отношений славян с их германскими соседями следует учитывать не только уровень знаний западных авторов о славянах, но и степень интереса к ним. Для измерения обоих этих параметров необходим сравнительный анализ высказываний франкских авторов об окружающих народах. Только сопоставив то, что писатели эпохи Карла считали нужным объяснять и рассказывать о славянах, с теми сведениями, которые они приводят о других племенах (особенно равноудаленных и тоже «варварских»), мы можем определить место славян в системе геополитических представлений раннекарolingского общества. При этом мы ограничимся текстом Королевских анналов (в обеих редакциях) как наиболее полного и самостоятельного источника.

К сожалению, специальных историко-географических или этнографических экскурсов в анналах — в силу специфики самого жанра — нет. В нашем распоряжении лишь несколько кратких пассажей, цель которых — разъяснить читателям официальной летописи, где и как жили те или иные «внешние народы», вступавшие в свое время в соприкосновение с Франкской державой. Проведенное сравнение показывает: в глазах образованной элиты ахенского двора самым экзотическим народом оставались именно славяне. Для читателя, воспитанного на античной географической номенклатуре, анналист вынужден неоднократно уточнять местоположение отдельных славянских племенных общностей («на дальнем берегу Эльбы», «на землях, лежащих между Эльбой и Заале», «на берегу Океана» и т. д. [22, а. 780, 782, 789]). Такого элементарного комментария удостоивается в анналах еще только сфера власти арабского «эмира Абрахама» (город Фустат в Египте) [16, а. 801]. Данные о географии аваров уже более детализированы: сообщается, где проходила их граница с баварами, где были расположены аварские укрепления и т. п. Некоторая осведомленность читателей об общем местоположении аваров, норманнов или испанских арабов заранее молчаливо предполагается — в отношении славян такой презумпции нет. Отсутствие подробной топографической информации о славянах в памятниках VII — начала IX вв. — явный признак того, что покорение их земель едва ли было ближайшей задачей Каролингов до второй половины 820-х годов, когда военные нужды империи привели к появлению труда Баварского Географа [27, с. 68—73].

Упоминания лишь о славянских и аварских предводителях сопровождаются замечаниями о характере их власти (князь Драговит выделялся «знатностью рода и авторитетом старости»; «...тудун, который имел большую власть в племени и царстве аваров» и т. д. [22, а. 789; 16, а. 795, 805, 811]). Мерой осведомленности и одновременно интереса к тем или иным народам может до некоторой степени служить то, сколько раз их представители названы в анналах по именам. В период с 741 по 814 гг. т. е. до смерти Карла Великого, в анналах встречаются имена 22 высокопоставленных норманнов, 10 испанских арабов, 8 аквитанцев, 7 славян и 3 саксов (последнее легко объяснимо, так как саксы не знали централизованной герцогской власти).

Только при Людовике Благочестивом, в 814—828 гг., внимание к славянам заметно возрастает. В этой части Королевских анналов элементарные географические разъяснения относятся исключительно к тем славянам, о которых прежде не говорилось (тимочане, сербы [16, а. 818, 822]). Зато больше внимания уделено политическому строю славян и событиям их внутренней жизни (ср.: [16, а. 817, 819, 823, 826]). Знатных славян, названных по именам, здесь уже не 7, а 11.

Восточные партнеры Каролингов отнюдь не выглядят в источниках аморфной, беспорядочной массой, а имеют четкую, иерархически оформленную социально-политическую организацию: «князь» — «знатные лица» — «народ». Конечно, вполне адекватного отражения этой системы мы у каролингских писателей не находим — уже из-за ограниченности и односторонности их эмпирических знаний о порядках у славян. Так как в непосредственном контакте франки находились лишь с представителями правящего слоя славянского общества, выступавшими от имени всего племенного объединения, то это неизбежно вело к смещению акцентов и искажению перспективы. Можно назвать это эффектом кривого зеркала: деформация всех пропорций в зависимости от степени приближения. Значение и руководящее положение славянских князей и знати — ближайших партнеров империи — выходило на передний план и преувеличивались, тогда как внутренняя основа легитимации княжеской политики, роль «народа», собраний полноправных членов племени, коллективное волеизъявление оставались в тени. Но, кроме «эмпирического», действовал также фактор «теоретический». Особенности социокультурной модели раннефеодального общества, «элитарное», аристократическое мышление анналистов VIII—IX вв. во многом обусловили восприятие и отражение ими «варварских» реалий: более выпукло представлены те элементы социально-политической системы у славян, которые казались более привычными, сближали ее с системами западноевропейскими, т. е. господство знати, всевластие князя, персонализация политических актов и т. п.

«Образ» того или иного народа в сознании других народов обычно включает в себя в качестве едва ли не центрального компонента то, что принято называть этнохарактерологическим стереотипом — представления (часто ошибочные) о чертах и свойствах «национального характера». Есть основания полагать, что в историографии и агиографии, придворной поэзии и переписке каролингского времени уже формируются устойчивые стереотипы восприятия саксов, аваров, византийцев, норманнов, наделяемых повторяющимися и, как правило, негативными прямыми характеристиками («беспокойные» саксы, «свирепые» авары, «надменные» византийцы, «жестокие» и «жадные» норманны и т. д.). Складываясь постепенно, в течение многих десятилетий, под влиянием религиозных, культурных и особенно военно-политических факторов, эти характеристики приобретают, наконец, ту устойчивость, ту независимость от конкретной ситуации взаимоотношений и ту силу обобщения, которые и превращают их в стереотипы.

В трудах немецких и славянских историков прошлого не раз проводилась мысль о некоей антиславянской тенденциозности, предвзятости латинских памятников уже VII—IX веков [28; 29; 30; 31, S. 6—9; 32, S. 21, 39; 33, S. 15—16, 27—28, 109—117, 131—133]. Объективные и тщательно документированные исследования Э. Доннерта и других показали, что это мнение не подтверждается самими источниками и не выдерживает критики [1, S. 291, 294, 357; 34, с. 29—31; 4, S. 337—338; 8, S. 104—109]. Не отрицая известной роли языковых, культурных и особенно конфессиональных различий, несомненно, влиявших на отношение западноевропейских писателей к славянам (хотя осознание различий вовсе не тождественно антипатии и вражде), мы бы поставили на первое место фактор *военно-политический*, на значение которого в формировании франкского «образа славян» впервые определенно указал Э. Цёлльнер [35, S. 197—198].

Мы проанализировали десятки обозначений славян в наших источниках. Большая часть пейоративных эпитетов указывает не на «этнический антагонизм» между германцами и славянами², а на противоположность между христианами и язычниками (*crudelissimi pagani; nimio errore decepti; incredula generatio; gens paganissima; gens aspera; gentiles; pagani* и др.) [36; 14; 37; 38; 24, а. 748; 39]. Некоторые из подобных эпитетов имеют, кроме того, особый, антикизирующий стилистический оттенок, придавая антагонизму религиозному дополнительный смысл противостояния

² То, что «этнический антагонизм» между германцами и славянами изначально был важнейшим компонентом формирующегося этнического самосознания немецкого народа, особенно активно утверждал В. Хесслер (ср. [33, S. 131]).

«культуры» и «варварства», «своих» и «чужих» обычаев (*rustica gens*) в дидактических стихотворных «Загадках» св. Бонифация; *barbarae ac ferae nationes*) у Эйнхарда [40; 20, cap. 15] (ср.: [41; 10, S. 137, 200, 208]).

Пресловутый пассаж из письма св. Бонифация мерсийскому королю Этельбальду (ок. 745 г.) «...Винеды, гнуснейшая и наихудшая порода людская...» (*Et Uinedi, quod est foedissimum et deterrimum genus hominum*) [42, № 73], если не вырывать его из контекста, нетрудно объяснить и без ссылок на «этнический антагонизм», для которого в VII—IX вв. не созрели еще ни общественно-исторические, ни этнопсихологические условия. Микроконтекст здесь — развернутое дидактическое противопоставление «естественной» и «изначально установленной богом» сексуальной морали язычников³, чтущих брачные узы, распутству короля-христианина (импликация: «если даже язычники...»). Резкие «антиславянские» эпитеты — не более чем риторическая фигура, оттеняющая последующее рассуждение о супружеской верности славянских женщин. отождествление того или иного народа с язычниками (ср. оппозицию *Scavi — christiani* в переписке Бонифация [42, № 87]) характерно не только для этого автора. Начальные Мецские анналы под 732, 752 и 778 гг. противопоставляют христианам арабов [24], а в Лоршских анналах под 792 г. христианам противостоят саксы и авары [43]. Этнический термин принимает дополнительное конфессиональное значение. Примечательно, что пример с «винедями» не единственный в письме Бонифация. Несколько строками выше, продолжая противопоставлять целомудренных язычников распутным христианам, он указывает англосаксонскому королю на суровые наказания, которыми их общие предки в «древней Саксонии» карали прелюбодеяние. В этом контексте какое-либо противопоставление славян германцам снимается, и говорить об особой, порожденной этническим чувством антипатии «апостола Германии» к восточным соседям также не приходится.

Выбор же «винедов» в качестве примера и их резко отрицательная характеристика могут, как нам кажется, объясняться макроконтекстом — столкновением Бонифация со славянами, осевшими в Тюрингии, которых он настойчиво вовлекал в местную систему феодальной эксплуатации, запрашивая папу Захарию о каноническом разрешении взимать с язычников подати за пользование «землями христиан» [42, № 87]. Неправоммерно, на наш взгляд, усматривать в пассаже о «винедях» свидетельство негативного отношения англосаксонского миссионера к обращению славян в христианство, свидетельство того, что он считал их «недостойными» крещения, как полагали в прошлом некоторые немецкие историки (ср. [44]). Разумеется, Бонифаций, как и другие проповедники, прибывшие в VII—VIII вв. из Англии на континент, хорошо осознавал свое этническое родство с германскими племенами между Рейном и Эльбой, и именно они были главным объектом его благочестивых забот (ср. его письмо папе Захарии от 751 г. [42, № 86]). Однако, как показывает предпринятая В. Фритце реконструкция миссионерских воззрений англосаксонского клира, «гентильно-религиозный мотив» сочетался в них с мотивом «универсально-миссионерским», и славяне, как и авары, входили вместе с германскими племенами в сферу интересов англосаксонских проповедников уже в VII — начале VIII вв. [6, S. 78—79, 88—89, 96—98, 105, 121—123]. Так, написанное Виллibaldiом «Житие св. Бонифация» сообщает о церквях, основанных им близ Вюрцбурга на Верхнем Майне, на стыке земель «франков и саксов, а также славян» [45]. В уже упоминавшихся «Загадках» Бонифация в едином аллегорическом ряду «возлюбивших невежество» названа прежде всего «Германская земля» (*Germanica tellus*), а затем уже славяне и «Скифия» (?) (*Rustica gens hominum Sclaforum et Scythia dura* [40]).

И опять-таки не к славянам как таковым, а к идолопоклонникам, к тому же, возможно, низкого социального статуса⁴, испытал физическое отвращение св. Стурми, встретив на майнцской дороге «великое множество

³ Рассуждение Бонифация о «естественном сближении закона» славянами и другими язычниками опирается на многовековую традиционную христианскую церквя. Подробнее см. [4].

⁴ Ф. Рёриг предполагал даже, что это был транспорт рабов [46].

славян», купавшихся в реке Фульде [39]. «По обычаю язычников (*more gentilium*) они насмехались над рабом господним» и даже «хотели причинить ему вред». Но ни глумление, ни «дурной запах» от их «голых тел» не помешали миссионеру, ученику св. Бонифация, вступить с ними в разговор, когда они спросили его через переводчика, куда он держит путь. Понятно, что и здесь отрицание, эмоциональное «отталкивание» славян обусловлено антагонизмом религиозным, неприятием язычества.

И все же трудно согласиться с мнением, будто «различие в вере» было решающим, если не единственным фактором, формирующим отношение западных писателей VII—IX вв. к восточным соседям [31, S. 6—7; 32, S. 21]. Заметим, что все приведенные выше цитаты взяты нами из агиографии или вообще из сочинений, созданных в церковной среде или ориентированных на нее. Для этих кругов оппозиция конфессиональная была, естественно, наиболее значима. Не следует также забывать, что речь идет здесь чаще всего о политически неорганизованных группах славян на территории Германии, оказавшихся в иноэтническом окружении и втягиваемых постепенно в поземельную зависимость от местной знати и особенно от монастырей. По отношению к самостоятельным славянским племенным образованиям за пределами германских земель те или иные «отрицательные» обозначения (*superbia pravorum; contumacium audacia; rebelles; gens inimica* и др. [13, lib. IV, cap. 68; 22, a. 782; 16, a. 782; 22, a. 789]) используются лишь при описании славянских набегов на территорию Франкской державы и связанных с этим конфликтных ситуаций.

Напротив, славян-союзников франкские анналы называют *Scilavi nostri* [43, a. 798] и политическое единство явно ставят выше религиозного. «Различие в вере разрывало все человеческие связи», — утверждал Э. Машке [31, S. 7]. Но мы вправе усомниться, распространялось ли это «общехристианское воззрение» и на связи политические. Характерно замечание Лоршских анналов о победе ободритов и франков над саксами в 798 г.: «И хотя те ободриты были язычниками (*fanatici*), однако вера христиан и короля помогла им...» [43, a. 798]. Мы помним, что самим договорно-правовым формам взаимоотношений между раннесредневековыми народами была в принципе свойственна конфессиональная индифферентность (ср. [47]). Источники строго различают славян-союзников и славян-противников, причем франкский монарх изображается всегда верным союзническим соглашениям (ср. [22, a. 789, 798; 20, cap. 12]), а своих партнеров вознаграждает, «как они того достойны» [43, a. 798]; не он, а славяне то и дело нарушают мир, посягая на имперские рубежи и за это несут «заслуженную» кару. Но и сами славянские княжества нередко враждуют между собой [22, a. 789; 16, a. 808, 809, 823].

Отсутствие в раннекарolingских памятниках этнической оппозиции «славянские племена» — «германские племена» подтверждается еще и тем, что славяне сами отнесены здесь к «народам Германии». VIII век отмечен «подлинным Ренессансом античной номенклатуры» [48], некритическим воспроизведением античной системы географических понятий (ср. [49, S. 358]). Как и многие другие географические термины, *Germania* выступает у писателей того времени в своем античном значении — как «все области племен за рекой Рейн» (из «Книги истории франков» VIII в. [50]) (ср. в письме папы Григория II Карлу Мартеллу от 722 г.: «народы Германии», «сидящие к востоку от Рейна» [42, № 20]). Западная граница «Германии» четко осознавалась (изучение многих контекстов употребления этого термина в аналитике и поэзии показывает, что «Германия» почти всегда явно или аллюзивно противопоставлялась «Галлии»), восточная же ее граница, как справедливо отмечали некоторые польские авторы, оставалась неопределенной, подвижной (ср. [49, S. 356—358; 51; 3, s. 85—88]). Совмещение традиционного, книжно-догматического, лишенного этнического содержания, чисто географического понятия с новыми знаниями об ареале расселения славянских племен не могло происходить непротиворечиво. На так называемой «Равеннской карте» (ок. 700 г.) «славяне» (*Scilavini*) помещены на границе «Германии» и земли «сарматов», между Ср. Дунаем, Эльбой и «Океаном» [52]. Но уже первые волны Каролингского Воз-

рождения вновь восстановили в правах античную географическую традицию: в сочинении Павла Диакона «Германия» простирается до р. Дон (Танаис) [53, lib. I, cap. 1].

Какое-либо противопоставление славян и германцев снимается: переработанная редакция Королевских анналов прямо локализует племенной союз вильцев в «Германии» (*Natio quaedam Sclavenorum est in Germania...*) [22, a. 789]. Позднее, в начале 830-х годов, Эйнхард будет проводить восточную границу «Германии» по Висле и причислять славян, обитавших к северу от Дуная, к «варварским и диким народам, которые... населяют Германию» [20, cap. 15]. Как и Бонифаций, Эйнхард не делает различий между славянами и германскими племенами, еще не втянутыми в сферу каролингской христианской цивилизации (ср.: «Саксы, как почти все народы, населяющие Германию, и по натуре дики, и поклонению демонам привержены...» [20, cap. 7]).

Собственно этнохарактерологических суждений о славянах мы в источниках VII — начала IX вв. почти не находим. То немногое, что удастся выявить, относится к славянам как военным противникам. Писавшие независимо друг от друга Псевдо-Фредегар и Павел Диакон, повествуя о столкновениях своих соплеменников — франков или лангобардов — с восточными соседями, дают понять, что славяне были сильными и опасными врагами, храбрыми воинами (*manus forcium Venedorum* [13, lib. IV, cap. 68]), сражавшимися умело и мужественно (*viriliter* [53, lib. VI, cap. 24]). Победа над ними была очень престижна, именно поэтому «надменный» Фердульф, герцог Фриульский, так мечтал о «славе победителя славян» (*victoriae laudem de Sclavis habere cupiit*), что даже решился тайно подговорить их к вторжению в свою страну [53, lib. VI, cap. 24]. Однако, вопреки фактам, племенной патриотизм хронистов не позволял им даже при описании поражений «своего» войска признать военное превосходство славян: они одерживают победу не своей мощью, а «благодаря случаю», точнее — вследствие раздоров в войске франков или лангобардов (ср. [13, lib. IV, cap. 68; 53, lib. VI, cap. 24]). «Воинственными и полагающимися на свою многочисленность» представлены в переработанной редакции Королевских анналов вильцы (*Gens illa... bellicosa et in sua numerositate confidens* [22, a. 789]). В источниках главным мотивом славянских набегов на земли соседей выступает захват добычи (*praeda*) (ср. [22, a. 782; 16, a. 808, 816; 53, lib. IV, cap. 39; lib. VI, cap. 24]). Эта мотивировка не содержит в себе ничего исключительного и встречается, например, при описании вторжений норманнов⁵.

Решающую роль именно военно-политической доминанты, ее примат над этнической и даже религиозной при формировании у западноевропейских народов этнохарактерологических стереотипов восприятия их соседей доказывает и сравнение «образа славян» в раннекаролингских памятниках, с одной стороны, и в памятниках второй половины IX в., с другой. Отношения внуков и правнуков Карла Великого со славянскими княжествами становятся более регулярными, но преимущественно враждебными. Меняется вследствие этого и изображение славян у франкских писателей. Оно утрачивает амбивалентность, становятся заметны все большая предвзятость, негативная односторонность. Так, можно уже говорить, в частности, об антиморавской тенденциозности Фульдских анналов 840—890-х годов (см. работы Д. Бартоновой и Л. Билковой, З. Фиалы, М. Карбуловой [2; 54]). В историографии, насколько нам известно, до сих пор не прослежена эволюция эмоционального восприятия славян в каролингском обществе VIII—IX вв. Мы также ограничимся здесь лишь несколькими примерами.

1. В течение IX в. понимание «обычая», «правов» славян существенно трансформируется. В анналах эпохи Карла и у Эйнхарда *mos, mores* (*Sclavogum*) — понятие нейтральное, этнографическое, лишённое этической или политической оценки. Славянские племена различаются «пра-

⁵ По мнению Х. Цеттеля, стремление к грабежу является в источниках VIII—IX вв. преобладающей мотивировкой норманнских набегов [10, s. 186—188, 204—205, 213—214].

вами и внешностью» (*moribus... atque habitu* [20, сар. 15]). Обязуясь не совершать враждебных действий против франков, вильцы в 789 г. присягнули Карлу «в соответствии со своим обычаем» [24, а. 789], как это делали и другие народы (ср. [16, а. 777; 22, а. 758; 23, а. 873]). Напротив, в Фульдских анналах понятие *Sclaviscus mos* приобретает пейоративное содержание: в 871 г. Святополк Моравский данное франкам обязательство «по славянскому обычаю нарушил» [23, а. 871]. Примечательно, что «снижающего» конфессионального оттенка здесь нет: великоморавский князь был в это время давно уже христианином.

2. Вплоть до 880-х годов ни один славянский предводитель не получал в западных текстах какой-либо внеситуативной личной характеристики. Только в позднекаролингскую эпоху вооруженные столкновения франков с восточными соседями стали столь частыми и интенсивными, что в Регенбургском продолжении Фульдских анналов князь Святополк неоднократно упомянут с относящимися лишь к нему «отрицательными» предикатами («ум, полный обмана и лукавства»; «губит свирепо и кровожадно, как волк»; «вместилище всякого вероломства» [23, а. 884—894]). Политический смысл этих высказываний очевиден. Добавим, что уже в начале X в., когда венгерские набеги оттеснили франко-великоморавские войны в область воспоминаний, эпитафия Святополку в хронике Регинона звучит совсем иначе: «...муж среди своих мудрейший и в хитростях искуснейший...» [55].

3. Если в произведениях каролингских авторов конца VIII — начала IX вв. обобщенный образ внешнего противника Франкской державы и христианского мира являют собой чаще всего авары («гунны») или арабы (ср. «Послание к королю» Теодульфа Орлеанского или переписку Алкуина), то после смерти Карла Великого, по мере ухудшения франко-славянских отношений, положение заметно меняется. Описывая свое морское путешествие в Константинополь в 814 г., Амаларий, епископ Трирский, призывает моряков остерегаться, наряду с «маврами», и «свирепых славян» [56] — начиналась эпоха арабского и славянского пиратства в Адриатике. Тех же «мавров», «воинственных славян» и «сарацин» избирает для поэтической типизации образа внешних врагов империи и Седулий Скотт в середине IX в. [57]. Еще более показательна эволюция образа ободритов: для летописцев эпохи Карла ободриты — «наши славяне»; для Пасхазия Радберта, составившего в 840-х годах «Житие аббата Валь», — «неукротимое племя» (*Abitrices gens indomabilis*), символическое обозначение «врага видимого» вообще, той враждебной силы, против которой выступает с оружием мирянин, подобно тому как святой подвижник борется с людскими пороками [58]. Упоминание здесь именно ободритов не может удивлять: франко-ободритский союз давно отошел в прошлое и сменился в 830-х годах спорадическими вооруженными конфликтами.

4. Нейтральное, лишненное какой бы то ни было эмоциональной окраски указание на языковые различия между славянами и германцами («по нашему обычаю называются вильцами, по-своему же, то есть на своем наречии, — велатабами» [20, сар. 12]) сменяется в позднекаролингской литературе оценочно-негативным суждением о славянских племенах (вильцах, чехах), «бормочущих невесть что» (*quid nescio murmurantes*) (из рассказа некоего швабского воина о восточных походах [59]).

Конечно, появление в Фульдских анналах и других памятниках периода распада империи первичных признаков эмоционального «отталкивания» славян связано с военно-политической конъюнктурой на восточной границе королевства Людовика Немецкого не непосредственно. Следует учитывать и собственно этнопсихологическую ситуацию позднекаролингского общества, прежде всего изменившееся концептуальное «наполнение» такого важного показателя, как «чувство — мы» у самих западных писателей (подробнее см. работы В. Эггерта [60; 61]). Если в единой Франкской державе VIII — первой половины IX вв. понятия «мы», «наш» в историко-графических внеличностных текстах охватывают всех ее подданных [16, а. 797, 798, 828; 20, сар. 7; 62] и даже союзников («наши славяне»), то с середины IX в., в Фульдских анналах, *nostri, nostrates* — это только

жители Восточно-Франкского королевства — франки, саксы, бавары, алеманны [23, а. 869, 871, 882]. Такое резкое сужение «чувства — мы» создавало потенциальную возможность эмоционального «отгалкивания» всех иных, чужих, «внешних народов», в том числе славян. Хронический же франко-моравский конфликт превратил эту возможность в действительность.

Но 100—150 годами раньше, когда империя еще только складывалась и молодая династия австразийских майордомов — Каролингов — боролась за объединение под своей властью отпавших от Франкской державы в конце VII в. племен — аквитанцев, гасконцев, фризов, алеманнов, саксов, баваров [24, а. 691], восприятие «внешних» (*exterae*) или «окружающих народов» (*circumsitae nationes*) было иным. В геополитическом сознании раннекаролинских писателей славяне вместе с византийцами, римлянами, лангобардами, аварами и арабами входили в самую периферийную зону, не подлежащую завоеванию, куда каролинские правители «направляли своих послов... ради выгод своей державы», добиваясь «мира и дружбы с соседними племенами» [24, а. 692]. Правда, впоследствии, как известно, некоторые из этих народов враждовали с франками и частично вошли в состав будущей империи. Но славянские княжества остались в полном смысле слова «внешними», «соседними» для Франкского государства, то вступая с ним в союзы против общих врагов (саксов, аваров), то совершая набеги на его территорию. Значительно продвинувшиеся к началу IX в. в своем общественном развитии, управляемые аристократической верхушкой во главе с княжеской династией, способные к активным внешнеполитическим действиям и представлявшие собой немалую военную силу, славянские племенные объединения в то же время воспринимались на Западе как далекая, экзотическая, иноязычная стихия и — за исключением нескольких областей к югу от Дуная — как язычники, не приобщенные к наследию античной цивилизации. Эти княжества могли стать для Каролингов полезными партнерами, надежными союзниками при завоевании земель к востоку от Рейна. Но могли стать и источником постоянной угрозы восточным границам новой империи.

Эта двойственная политико-стратегическая роль славян, как и других «внешних народов», предопределила их противоречивое отражение в латинской литературе VII — начала IX в. Разнообразие эмпирических, несистематизированных знаний о восточных соседях, более или менее точная, но поверхностная и недифференцированная информация без заметно выраженного специального интереса, четкое осознание различий без устоявшихся симпатий и антипатий — таковы основные особенности «образа славян» в раннекаролинской традиции, и они вполне соответствовали характеру реальных взаимоотношений, активных, но нестабильных. Народы знакомились: предстояли долгие столетия тесного соседства, общения, сближения.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Donnert E.* Studien zur Slawenkunde des deutschen Frühmittelalters vom 7. bis zum beginnenden 11. Jh.— In: Jahrbuch für Geschichte der UdSSR und der volksdemokratischen Länder, Bd. 8. Berlin, 1954, S. 239—353.
2. *Bartoňkovi D.* Tendence franských zpráv o Velké Moravě.— In: Sborník práce filosofické fakulty Brněnské university. Řada archeologicko-klasická (E), t. XXIII, č. 9. Brno, 1954, s. 129—137.
3. *Grabski A. F.* Polska w opiniach obcych X—XIII w. Warszawa, 1964, s. 81—108.
4. *Fritze W.* Theologia naturalis und Slavenmission bei Bonifatius.— Zeitschrift für slavische Philologie, Bd. 31, 1939, S. 316—338.
5. *Fritze W.* Slaven und Avarn in einem bonifatianischen Versträtsel.— Zeitschrift für slavische Philologie, Bd. 34, 1963.
6. *Fritze W.* Universalis gentium confessio. Formula, Träger und Wege universalmissionarischen Denkens im 7. Jh.— In: Frühmittelalterliche Studien, Bd. 3. Berlin—New York, 1959, S. 73—130.
7. *Hellmann M.* Karl und die slawische Welt zwischen Ostsee und Böhmerwald.— In: Karl der Große. Lebenswerk und Nachleben, Bd. I, 3. Aufl. Düsseldorf, 1967, S. 708—719.
8. *Ernst R.* Die Nordwestslaven und das fränkische Reich. Beobachtungen zur Geschichte ihrer Nachbarschaft und zur Elbe als nordöstlicher Reichsgrenze bis in die Zeit Karls des Grossen. Berlin (West), 1976.

9. *Ронин В. К.* Политические взаимоотношения славян и Франкского государства при Карле Великом. Автореф. дис. на соискание уч. ст. канд. ист. наук. М., 1983.
10. *Zettel H.* Das Bild der Normannen und der Normanneneinfälle in westfränkisch—ostfränkischen und angelsächsischen Quellen des 8. bis 11. Jahrhunderts. München, 1977.
11. *Cilinská Z.* Výsledky výzkumu na slovansko—avarskom pohrebisku v Zeloviciach.— Archeologické rozhledy, r. 24, 1972, s. 83—84.
12. *Herrmann J.* Der Beitrag der Archäologie zur Geschichte der Beziehungen zwischen fränkischem Reich und nordwestslawischen Stämmen.— In: Prace i materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi. Seria archeol., № 25. Łódź, 1978, s. 155—168.
13. *Chronicarum quae dicuntur Fredegarii libri IV.*— In: Monumenta Germaniae Historica (MGH) Scriptorum rerum Merovingicarum, t. II. Ed. B. Krusch. Hannoverae, 1888, p. 1—167.
14. *Vita S. Amandi episcopi, car. 16.*—In: MGH Scriptorum rerum Merovingicarum t. V. Hannoverae, 1910, p. 439—440.
15. *Conversio Bagoariorum et Carantanorum.* Izd. M. Kos. Ljubljana, 1936.
16. *Annales regni Francorum.* Ed. F. Kurze. Hannoverae, 1895.
17. *Fragmentum annalium Chesnii, a. 789.*— In: MGH Scriptorum, t. I, Ed. G. H. Pertz. Hannoverae, 1826, p. 34.
18. *Annales S. Amandi.*— In: MGH Scriptorum, t. I, p. 12, 14.
19. *Alcuini sive Albini epistolae.*— In: MGH Epistolae, t. IV. Ed. E. Dümler. Berolini, 1895, p. 1—481.
20. *Einhardi Vita Karoli.*— In: Ausgewählte Quellen zur deutschen Geschichte des Mittelalters, Bd. V. Berlin, o. J., S. 164—211.
21. *Descriptio civitatum ad septentrionalem plagam Danubii (tzv. Bavorský geograf).* Vyd. B. Horák, D. Travníček. Praha, 1956, p. 2.
22. *Annales qui dicuntur Einhardi.*— In: Annales regni Francorum.
23. *Annales Fuldenses.* Ed. F. Kurze. Hannoverae, 1891.
24. *Annales Mettenses priores.* Ed. B. Simson. Hannoverae—Lipsiae, 1905.
25. *Schlesinger W.* Die Verfassung der Sorben.— In: Siedlung und Verfassung der Slawen zwischen Elbe, Saale und Oder. Giessen, 1960, S. 76—102.
26. *Hellmann M.* Bemerkungen zum Ausgangwert der Fuldaer Annalen und anderer Quellen über slavische Verfassungszustände.— In: Festschrift für Walter Schlesinger, Bd. I. Köln—Wien, 1973, S. 50—62.
27. *Гюзелев В.* Средновековна България в светлината на нови извори. Софя, 1981, с. 68—81.
28. *Гильфердинг А. Ф.* Собр. соч. Т. 4. М., 1874, с. 241—242.
29. *Павинский А.* Полабские славяне в борьбе с немцами. VIII—XII ст. Сиб, 1871, с. 68.
30. *Wachowski K.* Słowiańszczyzna zachodnia. Wyd. 2. Poznań, 1950, s. 69.
31. *Maschke E.* Das Erwachen des Nationalbewusstseins im deutsch-slavischem Grenzraum. Leipzig, 1933.
32. *Zatschek H.* Das Volksbewusstsein. Sein Werden im Spiegel der Geschichtsschreibung. Brünn, 1936.
33. *Hessler W.* Die Anfänge des deutschen Nationalgefühls in der ostfränkischen Geschichtsschreibung. Berlin, 1943.
34. *Доннерт Э.* Данные немецких источников раннего средневековья о славянах и программа восточной экспансии у Титмара Мерзебургского.— В сб.: Средние века, вып. 27. М., 1965, с. 26—39.
35. *Zöllner E.* Die politische Stellung der Völker im Frankenreich. Wien, 1950.
36. *Breves Notitiae, III, VIII.*— In: Salzburger Urkundenbuch, Bd. 1. Salzburg, 1898, S. 22, 27.
37. *Traditio Tassilonis ducis, a. 770.*— In: Gradivo za zgodovino Slovencev. Zbr. F. Kos, kn. 1. Ljubljana, 1902, št. 239, s. 274—275.
38. *Annales Mosellani, a. 789.*— In: MGH Scriptorum, t. XVI. Ed. J. M. Lappenberg. Hannoverae, 1859, p. 497.
39. *Eigilis Vita S. Sturmi, cap. 7.*— In: MGH Scriptorum, t. II, 1829, p. 369.
40. *Bonifatii Carmina.*— In: MGH Poetae latini aevi Carolini, t. I. Ed. E. Dümler. Berolini, 1881, p. 13.
41. *Van Acker L.* Barbarus und seine Ableitungen im Mittellatein.— Archiv für Kulturgeschichte, 47, 1965, S. 129, 134—136.
42. *Sanctorum Bonifatii et Lulli epistolae.*— In: MGH Epistolae, t. III. Ed. E. Dümler. Berolini, 1892, p. 215—433.
43. *Annales Laureshamenses, a. 768—803.*— In: MGH Scriptorum, t. I, 1826, p. 22—39.
44. *Schieffer Th.* Winfrid-Bonifatius und die christliche Grundlegung Europas. Freiburg, 1954, S. 97—98, 178, 284.
45. *Vita S. Bonifatii auctore Willibaldo, cap. 8.*— In: Vitae S. Bonifatii abbatis Moguntini. Ed. W. Levison. Hannoverae et Lipsiae, 1905, p. 44.
46. *Rörig F.* Magdeburgs Entstehung und die ältere Handelsgeschichte. Berlin, 1952, S. 21—22.
47. *Ронин В. К.* Международно-правовые формы взаимоотношений славян и империи Карла Великого (союз и вассалитет).— Советское славяноведение, 1982, № 6, с. 40—41, 44.
48. *Ewig E.* Beobachtungen zur politisch—geographischen Terminologie des fränkischen Grossreiches und der Teilreiche des 9. Jh.— In: Spiegel der Geschichte. Festgabe

- für Max Braubach. Münster, 1964, S. 137.
49. *Kowalenko W.* Bałtyk i Pomorze w historii kartografii (VII—XVI w.).— *Przegląd Zachodni*, r. X, 1954, № 7—8, s. 353—389.
 50. *Liber historiae Francorum*, cap. 5.— In: *MGH Scriptores rerum Merovingicarum*, t. II, 1888, p. 245.
 51. *Labuda G.* Źródła, sagi i legendy do najdawniejszych dziejów Polski. Warszawa, 1961, s. 10—11.
 52. *Miller K.* *Mappae mundi*. Die älteren Weltkarten, H. VI, Tafel 1. Stuttgart, 1898.
 53. *Pauli historia Langobardorum*. Ed. G. Waitz. Hannoverae, 1878.
 54. *Bílková L., Fiala Z., Karbulová M.* Altmährische Terminologie in den zeitgenössischen lateinischen Quellen und ihre Bedeutung.— *Byzantinoslavica*, r. XXVIII, 1967, s. 289—335.
 55. *Reginonis abbatis Prumiensis chronicon*, a. 894.— In: *Ausgewählte Quellen zur deutschen Geschichte des Mittelalters*, Bd. VII, 1960, S. 302.
 56. *Amalarii episcopi Trevirensis versus marini*.— In: *MGH Poetae latini aevi Carolini*, t. I, 1881, p. 428.
 57. *Sedulii Scotti carmina*.— In: *MGH Poetae*, t. III. Ed. L. Traube, 1896, p. 212.
 58. *Ex Vita Walae abbatis Corbeiensis auctore Paschasio Radberto*.— In: *MGH Scriptores*, t. II, 1829, p. 537.
 59. *Notkeri Gesta Karoli*, lib. II, cap. 12.— In: *Ausgewählte Quellen...*, Bd. VII, 1960, S. 404.
 60. *Eggert W.* Das ostfränkisch-deutsche Reich in der Auffassung seiner Zeitgenossen. Berlin, 1973, S. 80—81, 90—91.
 61. *Эггерт В.* Идентификация и «чувство — мы» у немецких хронистов раннего средневековья.— В сб.: *Средние века*, вып. 46, М., 1983, с. 112—115.
 62. *Anonymi Vita Hludowici imperatoris*, cap. 5, 13—15.— In: *Ausgewählte Quellen...*, Bd. V, S. 266, 274, 276, 278.



ЦИГЕНГАЙСТ Г.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ ГЕРМАНО-СЛАВЯНСКИХ КУЛЬТУРНЫХ ОТНОШЕНИЙ В ПЕРИОД ПРОСВЕЩЕНИЯ И РОМАНТИЗМА В КОНТЕКСТЕ ПРОЦЕССОВ ВНУТРИЕВРОПЕЙСКОЙ РЕЦЕПЦИИ

Более 150 лет назад — в мае 1832 г. — Якоб Гримм, основатель критико-исторической германской филологии и один из пионеров славистики в Германии, сформулировал в Геттингенских ученых записках следующую мысль: «Все очевиднее становится убеждение в постоянном — уже с древнейших времен — взаимодействии европейских народов; до сих пор тщательно исследовали лишь связь между германскими и романскими языками и литературами; в дальнейшем же славянские литературы и языки потребуют и будут заслуживать точно такого же внимания» [1].

Если сегодня мы окинем взором международную славистическую литературу второй половины нашего века, то особенно с середины 60-х годов увидим необыкновенное возрастание исследовательского интереса к «постоянному тесному взаимодействию» национальных литератур в рамках «литературных отношений» Европы (Копитар)¹.

Прогрессивные литературоведы западных стран также все отчетливее начинают осознавать, что ансамбль европейских литератур и искусства немислим без своеобразных идейных и эстетических ценностей, созданных славянскими литературами — а среди них и так называемыми «малыми», «исторически запоздалыми». Уходящий корнями далеко в прошлое «взаимообмен» (Гёте) между славянскими и другими европейскими литературами образует существенный фактор, который в течение веков определял духовную культуру Европы (ср. международные сборники исследований [3]).

Даже такой ученый, как Х. Рюдигер, один из ведущих представителей традиционной западноевропоцентристской компаративистики, недавно должен был признать, что именно европейская литература богата так называемыми малыми литературами, изучению которых многие западные исследователи придают сегодня большое значение [4].

В результате необычайного увеличения исследовательских публикаций за два последних десятилетия в современной международной славистике появилось огромное количество историко-литературных исследований о феномене проникновения культуры славянского мира во внутри-европейские процессы коммуникации и рецепции XVIII и первой половины XIX в., о формировавшихся друг за другом региональных областях романо-славянских, англо-славянских² или скандинаво-славянских и,

¹ Первая, хотя и далеко не исчерпывающая, сводка международной исследовательской литературы последнего десятилетия предложена в [2].

² Часто трудно доступная новая специальная литература в англоязычной периодике в настоящее время систематизирована в [5].

наконец, германо-славянских литературных отношений в период Просвещения, национального возрождения, романтизма, в период кануна революции 1848 г. Причем на этот возросший интерес международной науки значительное влияние оказали импульсы, исходившие от специфической методики исследований идейно-культурной истории Восточной Европы в славистике ГДР (прежде всего от школы Э. Винтера) [6—9].

В последнее время с различных исходных позиций были подвергнуты критике содержание и методологические установки многочисленных сборников, монографий и статей по истории отношений между славянскими и неславянскими литературами Восточной, Юго-Восточной и Центральной Европы, опубликованных за прошедшие десятилетия в ГДР, Советском Союзе и других социалистических странах. Обычно их относят к традиционной позитивистской «компаративистике влияния» [10]. Несомненно обоснованные возражения, особенно против преувеличенной историко-генетической «контактологии», не могут, однако, означать сомнений в законности исследования истории взаимных отношений и рецепции. Отпугивающее слово «позитивизм» не должно давать нам повод к девальвации или даже устранению самого предмета исследования.

Я глубоко убежден, что конкретно-исторические исследования базисных процессов взаимоотношений славянских и других европейских литератур в течение столетий займут надлежащее место внутри марксистской компаративистики. Их ценность обусловлена исторической значимостью предмета: это зоны непосредственной встречи и соприкосновения национальных литератур. Славистические исследования литературных отношений сосредоточены на важной точке пересечения истории внутриевропейской литературной коммуникации.

Здесь уместно напомнить речь «Проблемы сравнительного литературоведения» В. Крауса, произнесенную 21 июня 1962 г. в Берлинской Академии наук и имеющую огромное значение для развития литературоведения в ГДР. В ней говорилось об обязательности «более глубокого и многостороннего знания отдельных литератур», но в то же время указывалось, что лишь «множество соприкосновений и встреч» между национальными литературами дают «полную картину». Компаративистика, т. е. изучение «межлитературных отношений» призвана быть противовесом традиционной национальной филологии, выводящей развитие своей национальной литературы почти исключительно из отношения к собственной традиции и истории [11].

Именно теперь, когда почти везде в международных исследованиях очевиден поворот от абстрактной (структурной или формально-эстетической) теории к реальной истории, нам необходим строгий, конкретный, историко-материалистический анализ.

Обязательной предпосылкой этого является верность фактическим данным (что не означает «позитивизма!»), обеспеченная достаточным количеством филологически тщательно обработанного материала новых источников.

В настоящее время подлинная суть проблемы — это обратная связь наших исследований литературно-, культурно- и научно-исторических отношений с широким контекстом, наш конструктивно-критический интерес к обновленным методологическим подходам, определяемым различными специальными дисциплинами и направлениями в международном литературоведении в последние два десятилетия. Особенно это касается историко-теоретических аспектов методологии литературной рецепции, коммуникации и функции, которые выдвигаются в центр международных компаративистских дебатов³. Для этого требуется также, чтобы мы больше внимания обращали на общеевропейские исторические и литературные темы в противовес традиционному примату национально-литературной (монологической) теории.

В этой связи необходимо указать на последние концептуальные соображения братиславского ученого Д. Дюришина. Он обратил внимание

³ О состоянии международной дискуссии по компаративистике см. [12].

на мало разработанную область исследования «межлитературной общности», которую рассматривает как связующее звено между национально-литературной и всемирнолитературной системой [13]. Его изображение многообразного феномена взаимосвязанных групп национальных литератур, их типологии и истории, их интегрирующей, дифференцирующей и дополняющей функции кажется мне началом перспективного освоения исследовательской целины, которое дальше может развиваться как межфилологическое направление науки.

Продуктивность методического подхода Дюришина сказалась также в том, что детальное литературно-историческое изучение получило новое проблемное измерение. В качестве примера можно привести предпринятую австрийским германистом Г. Зайдлером попытку представить Вену, наряду с Йеной и Гейдельбергом, как третий центр романтизма в немецкоязычных странах. Благодаря деятельности Фридриха и Августа Вильгельма Шлегелей в 1808—1812/15 гг., сконцентрированной на развитии универсальной точки зрения на европейские литературы, Вена оказала глубокое влияние на литературы Центральной и Юго-Восточной Европы [14].⁴

Комплексное исследование истории межлитературной общности бывшей многонациональной Габсбургской монархии должно проверить этот интересный тезис Г. Зайдлера, так как он указывает на разнообразные связи с межлитературной общностью немецкоязычного региона, которая тогда находилась в типологически подобном процессе национально-исторического профилирования и одновременно дифференцирования. Концепция Дюришина о «межлитературных общностях» могла бы оказаться методическим импульсом для включения романтизма, вместе с формированием его теории в группировках центрально- и восточноевропейских литератор, в вышестоящую внутриевропейскую структуру отношений.

Здесь следует добавить, что при открытии идейно-исторического происхождения компаративистского (касающегося европейских литератур и мировой литературы) мышления марксистские исследования в ГДР до сих пор уделяли еще недостаточно внимания попытке обоснования всеобщей связи истории развития европейских литератур, предпринятой на рубеже XVIII и XIX вв. молодым немецким романтиком Фридрихом Шлегелем (ср. [15]). В программном введении к своим парижским лекциям по истории европейской литературы (ноябрь 1803 — апрель 1804 гг.; вскоре после этого повторены в Кёльне), — аутентичный текст которых впервые в 1958 г. опубликовал Э. Белер, — Ф. Шлегель сформулировал: «Литературы различных веков и наций являются самой живой частью истории». «Благодаря знакомству с литературой какого-либо народа мы узнаем о его душе, его образе мыслей, степени его образования, одним словом — о бытии его и сущности, мы получаем характеристику, которую бы напрасно искали где-либо в другом месте». Нельзя стремиться ограничиваться лишь литературой определенного времени или одной нации, так как одно объясняется другим и вся литература во внутренней взаимосвязи является единым целым. «Европейская литература образует взаимосвязанное целое, где все отрасли теснейшим образом переплетены, одно основывается на другом, объясняя и дополняя его. Это проходит через все времена и нации до нашего времени» [16].

Европейский литературный подход Ф. Шлегеля в его парижских и кельнских лекциях, основанный непосредственно на идеях Гердера, исторически относится к той области определяющих идей времени, из которой через два десятилетия возникла концепция «всеобщей мировой литературы» Гёте, куда структурно включается и славянская поэзия⁴.

Мы можем исходить из подтвержденного современными исследованиями положения, что в эпоху Просвещения — при всех национально-исторически обусловленных вариантах в отдельных странах — складывался

⁴ О степенях развития романтической теории искусства Ф. и А. В. Шлегелей и об их заслуге в деле основания истории европейской литературы ср. обобщающее изложение в [17].

качественно новый уровень внутриевропейской коммуникации как в самой литературе, так и в науке. Этот процесс обусловил выработку начальных общих представлений о внутренней исторической связи и единстве европейских — в том числе славянских — литератур. В период Просвещения, национального возрождения и романтизма славянские литературы все больше включаются в поток интенсивного внутриевропейского духовного обмена.

В процессе культурных взаимоотношений между Восточной и Западной Европой, начиная с эпохи Просвещения, особое значение — благодаря своему многообразию и интенсивности — приобрели германо-славянские отношения. Немецкое Просвещение, следуя идеям Лейбница, Шлёцера и Гердера, в течение XVIII в. разработало важное с точки зрения истории восприятия функциональное направление включения славянского мира в современное европейское культурное сознание.

Проблематика «посреднической функции» немецкого Просвещения между Восточной и Западной Европой в последнее время утвердилась, оказавшись в поле зрения международной славистики. Здесь следует отметить работы советских славистов А. С. Мыльникова [18] и А. В. Липатова [19], а также некоторые положения англо-американских исследований. Так, М. Рэфф в обширной статье, ссылаясь на работы Э. Винтера, выступил против распространенной недооценки немецкого Просвещения в западных работах и постулировал его позитивную роль в качестве посредника между русскими и западноевропейскими идейными течениями в XVIII в. [6].

Показателен и ряд исследований известного английского слависта А. Г. Кросса об англо-русских литературных отношениях в XVIII и XIX вв. Они проясняют значение публицистических выступлений Шлёцера о России для понимания этой страны в Англии конца XVIII в. и показывают, что первоначальное восприятие Карамзина в Англии основывалось на посредничестве И. Г. Рихтера, чьи немецкие переводы служили исходным материалом для английских обработок [20; 21].

Следует обратить внимание на очень важную область исследования связей и рецепции, требующую особого внимания славистов ГДР. Литературная и научная публицистика Просвещения в германских землях с середины XVIII в. стала одним из центров обмена и распространения информации и знаний о культурах славянских народов в общениях между Центральной, Юго-Восточной и Западной Европой.

Немецкоязычная литературная журналистика с середины XVIII до середины XIX вв. представляет огромное, далеко еще не исчерпанное современными исследованиями богатство материалов по истории как немецкой, так и европейской рецепции культуры, литературы и науки славянских стран.

Отметим существенный для направления дальнейших исследований новый методический подход: речь идет о широкой внутриевропейской посреднической функции немецкой публицистики с периода Просвещения до революции 1848 г. Речь идет об изучении малоисследованных моментов культурных связей между европейскими странами в рассматриваемый период.

В эпоху Просвещения литературные и критические журналы и газеты превратились в наиболее влиятельные новые средства информации и рецепции как внутри европейской стран, так и между ними. Прежде всего это новое действенное средство информации Просвещения с его возможностями ввести в немецкий и общеевропейский оборот литературу России, Богемии или Сербии наряду с литературами других европейских народов имел в виду Шлёцер, когда в одной из своих забытых рецензий 1802 г. восторженно говорил о повсеместно распространяющихся в Европе печатных машинах как о «божественных машинах культуры».

В этой связи следует заметить, что не кто иной, как Копитар подчеркнул «большую пользу» журналов и газет как активизирующего «культурного средства» славянского национального возрождения. При этом он исходил из примера и опыта немецкого Просвещения и писал в 1814 г.,

«ссылаясь на высказывание «патриарха» Шлёцера: «Относительно большой пользы газет согласны все. По мнению Шлёцера, мы обязаны газетам тем, что стали европейцами» [22].

Два десятилетия спустя, в 1837 г. Ян Коллар в своем труде о литературном обмене между различными славянскими народами подобным образом подчеркнул коммуникативную функцию журналов и газет для общеславянского культурного развития: «Литература — высказанное вслух мышление нации: газеты — языки народов, которыми они говорят друг с другом... Воздействие давно забытых журналов не кончается вместе с ними» [23].

Почти невозможно охватить всю литературную, критическую и научную публицистику в германских землях с периода Просвещения до революции 1848 г. Так, А. Эстерман в своем фундаментальном десятитомном указателе, составленном на основании просмотра фондов в 159 европейских библиотеках, за первую половину XIX в. привел и проаннотировал 2200 немецкоязычных литературных журналов, среди них не менее 800, которые до него никто не изучал [24].

Современная история литературы все больше включает периодическую литературную прессу, ставшую в эпоху Просвещения важнейшим новым средством коммуникации, в исследование как национальных, так и международных литературных и рецепционных процессов XVIII и XIX вв. В 1968 г. В. Краус показал в своем исследовании французской журналистики эпохи Просвещения, что в XIX в. и вплоть до середины нашего столетия внимание ученых совершенно не привлекали журналы, историко-литературное значение которых лишь недавно было понято историками литературы. Полностью сохраняет свое значение его утверждение: «Журнальное дело в XVIII в. было столь глубоко связано с общим занятием литературой, что в будущем будет невозможно не обращать внимания на эти важнейшие историко-литературные источники» [25].

Насколько может возрасти количество источников для славистических и восточноевропейских исследований благодаря использованию немецкой периодики, показал О. Фамбах, установивший имена всех авторов за 1769—1836 гг. «Göttingische gelehrte Anzeigen» — ведущего печатного органа немецкого Просвещения [26]. Установленное Фамбахом авторство Шлёцера относительно множества рецензий в «Göttingische gelehrte Anzeigen» за 1801—1809 гг. позволило как бы заново открыть поучительную главу из позднего творчества «покровителя славян» периода немецкого Просвещения (Копитар), оставленную без внимания даже в обширных специальных исследованиях последних десятилетий (ср., например, [27—31]). Уже теперь, без детального анализа их содержания и оценки⁵, можно предполагать, что некоторые из заново открытых рецензий Шлёцера имеют первостепенное значение для истории немецкой славистики раннего этапа и германо-славянских духовных связей начала XIX в.

В конце своей жизни Шлёцер еще раз использовал силу своего публицистического слова, ратуя за ознакомление Германии с русской историей, культурой и языком. Он признавал их ценность и значение для немецкой и всей европейской истории. Наряду с Россией, этим «чудом XVIII века», он проявлял также неизменное живое участие по отношению к судьбе южнославянских и других балканских народов, находившихся под австрийским или турецким игом. Характерным примером здесь может послужить горячая полемика Шлёцера с бывшим венским иезуитом Ф. К. Альтером, в котором он видел представителя феодально-клерикальных сил периода, наступившего после смерти Иосифа II. Он страстно защищал право славянских народов в Габсбургской монархии на национальное возрождение, особенно на развитие и употребление «вульгарного» языка, т. е. тогдашнего славянского народного языка вместо «непонятного» церковнославянского («старославянского»). В свете отмеченной Ст. Хафнером роли Альтера в докопитаровской [35] фазе австрославизма рецензия Шлёцера, написанная осенью 1801 г., приобретает историческое значение, которое трудно переоценить.

⁵ Первые указания находятся в [32—34].

Несмотря на заметный прогресс в новейших международных исследованиях, мы до сих пор располагаем лишь отрывочными сведениями о чрезвычайно многообразных процессах германо-славянских взаимосвязей. Вполне можно присоединиться к резко критическому взгляду американского историка литературы Т. П. Сэйна на современное состояние изучения эпохи Просвещения, высказанному им в 1976 г.: наше познание о XVIII в. и Просвещении недостаточно. Мы не будем знать об этом периоде достаточно до тех пор, пока, — отбросив в сторону эстетические предубеждения, — не будем готовы углубляться в него и отбирать необходимые материалы, разыскивать в архивах и библиотеках следы XVIII в. и не бояться при этом запачкать руки [36].

К перспективным исследовательским задачам славистики ГДР относится более широкое изучение научной, литературно-критической и популярной периодики германских земель, начиная с эпохи Просвещения до революции 1848 г., в качестве неисчерпаемого источника знаний о достижениях славянской литературы и науки того времени во внутриевропейском контексте. Только на основе дальнейших фундаментальных исследований источников, что даст возможность реконструировать процесс литературного взаимодействия во всей его широте, полноте и противоречивости, можно будет выработать более точное научное представление о том, как, начиная с эпохи Просвещения, славянские литературы оказались в поле зрения европейской общественности, стали важной составной частью общеевропейской духовной жизни и, наконец, сыграли свою роль в важнейших узловых моментах европейского идейного и литературного процесса XIX в.

К современному исследованию истории взаимодействия культур можно отнести слова, сказанные патриархом славистики Й. Добровским почти два века назад — в декабре 1789 г. — в письме к Рибай: «Общей проблематикой славянства можно заниматься всю жизнь и так и не изучить все детали» [37].

ЛИТЕРАТУРА

1. Cöttingische gelehrte Anzeigen, 1832, 2. Bd., 72. Stück vom 5. Mai, S. 716 etc.
2. Wytrzens G. Bibliographie der literarwissenschaftlichen Slawistik 1970—1980. Frankfurt a. M., 1982.
3. Slawische Kulturen in der Geschichte der europäischen Kulturen vom 18. bis zum 20. Jahrhundert./Hg. von G. Ziegengeist. Berlin, 1982; Wegenetz: europäischen Geistes. Wissenschaftszentren und geistige Wechselbeziehungen zwischen Mittel- und Südosteuropa vom Ende des 18. Jahrhunderts bis zum Ersten Weltkrieg./Hg. von R. G. Plaschka, K. Mack. Wien, 1983; Literaturbeziehungen im 18. Jahrhundert. Quellen und Studien zur deutsch-russischen und russisch-westeuropäischen Kommunikation./Hg. von H. Graßhoff. Berlin, 1986 (im Druck).
4. Rüdiger H. Europäische Literatur — Weltliteratur. Goethes Konzeption und die Forderungen unserer Epoche.— In: Komparatistik. Theoretische Überlegungen und südosteuropäische Wechselseitigkeit. Festschrift für Zoran Konstantinović. Heidelberg, 1981, S. 41.
5. Vamborschke U., Werner W. Bibliographie slavistischer Arbeiten aus den wichtigsten englischsprachigen Fachzeitschriften sowie Fest- und Sammelschriften 1922—1976. Wiesbaden, 1981.
6. Raeff M. Les Slaves, les Allemands et les 'Lumières'.— Canadian Slavic Studies, 1967, v. 1, № 4, S. 521—551.
7. Kulturbeziehungen in Mittel- und Osteuropa.— Deutsche Studien, Bremen, 1970, VIII. Jg., № 29. S. 35—46.
8. Rauch G. v. Political Preconditions for East-West Cultural Relations in the Eighteenth Century.— Canadian-American Slavic Studies, 1979, v. 13, № 4, S. 391—411.
9. Мьяльников А. С. Восточноевропейские исследования в университетах ФРГ: организация и проблематика.— В кн.: Славяноведение и балканистика в зарубежных странах. М., 1983, с. 66—124; (о [8] см. с. 86 и сл.)
10. Дюришин Д. Предварительные итоги дискуссии о межлитературных общностях.— Slavica Slovaca, 1981, № 4, S. 346—351.
11. Krauss W. Aufsätze zur Literaturgeschichte. Leipzig, 1968, S. 102—115.
12. Kaiser G. R. Einführung in die vergleichende Literaturwissenschaft. Forschungsstand — Kritik — Aufgaben. Darmstadt, 1980; Weissstein U. Vergleichende Literaturwissenschaft. Erster Bericht: 1968—1977. Bern — Frankfurt a. M., 1981; Schmelting M. (Hg.). Vergleichende Literaturwissenschaft. Theorie und Praxis. Wiesbaden, 1981.

13. Дюришин Д. Особые формы межлитературных общностей.— *Slavica Slovaca*, 1980, v. 15, № 4, S. 313—330.
14. Seidler H. Österreichischer Vormärz und Goethezeit. Geschichte einer literarischen Auseinandersetzung. Wien, 1982.
15. Rosenber R. Zehn Kapiteln zur Geschichte der Germanistik. Literaturgeschichtsschreibung. Berlin, 1981, S. 15—18.
16. Kritische Friedrich-Schlegel-Ausgabe. XI. Bd: Wissenschaft der europäischen Literatur. Vorlesungen, Aufsätze und Fragmente aus der Zeit von 1795—1804. Mit Einleitung und Kommentar hg. von E. Behler. München — Paderborn — Wien, 1980, S. 3—15.
17. Mandelkow K. R. Kunst- und Literaturtheorie der Klassik und Romantik.— In: Europäische Romantik I. Wiesbaden, 1982, S. 71 etc.
18. Мьяльников А. С. Славяно-германские культурные связи эпохи Просвещения.— *Slawische Kulturen in der Geschichte der europäischen Kulturen vom 18. bis 20. Jahrhundert*. Berlin, 1982, S. 61—65.
19. Лунатов А. В. Славянское Просвещение в общеевропейском контексте.— В кн.: Литература эпохи формирования наций в Центральной и Юго-Восточной Европе. Просвещение. Национальное Возрождение. М., 1982, с. 20—96.
20. Cross A. G. Karamzin in English: A Review Article.— *Canadian Slavic Studies*, 1969, v. III, № 4, S. 716—727.
21. British Knowledge of Russian Culture (1698—1801).— *Canadian-American Slavic Studies*, 1979, v. 13, № 4, S. 412—435.
22. B. Kopitars Kleinere Schriften/Hg. von F. Miklosich. Wien, 1857, S. 237.
23. Kollar J. Über die literarische Wechselseitigkeit zwischen den verschiedenen Stämmen und Mundarten der slawischen Nation. Pest, 1837, S. 123.
24. Estermann A. Die deutsche Literatur-Zeitschriften 1815—1850. Bibliographien, Programme, Autoren. Bd. 1—10. Nendeln, 1978—1981.
25. Krauss W. Die französische Journalistik im 18. Jahrhundert.— *Archiv für das Studium der neueren Sprachen und Literaturen*. Braunschweig, März 1968, 119. Jg., 204. Bd. № 6, S. 415.
26. Die Mitarbeiter der Göttingischen gelehrten Anzeigen von 1769—1836/Nach dem mit den Beischriften des J. D. Reuss versehenen Exemplar der Universitätsbibliothek Tübingen bearbeitet u. hg. von O. Fambach. Tübingen. 1976.
27. Neubauer H. August Ludwig Schlözer (1735—1809) und die Geschichte Osteuropas.— *Jahrbücher für Geschichte Osteuropas*. N. F., 1970, Bd. 18, S. 205—230.
28. Karle J. August Ludwig von Schlözer. An intellectual biography. Phil. Diss., Faculty of Political Science, Columbia University, 1972, S. 287 etc.
29. Grothusen K.-D. Zur Bedeutung Schlözers im Rahmen der slavisch-westeuropäischen Kulturbeziehungen.— In: *Russland — Deutschland — Amerika*. Festschrift für Fritz T. Epstein zum 80. Geburtstag. Wiesbaden, 1978, S. 37—41.
30. Becher U. A. J. August Ludwig v. Schlözer.— In: *Deutsche Historiker*./Hg. von H.-U. Wehler. Bd. VII, S. 7—23. Göttingen, 1980.
31. Wolle St. August Ludwig von Schlözers Nestor-Edition (1802—1809) im geistigen und politischen Umfeld des beginnenden 19. Jh.— *Jahrbücher für Geschichte der sozialistischen Länder Europas*, 1982, Bd. 25, H. 2, S. 139—153.
32. Pohrt H. Die Äusserungen August Ludwig von Schlözers über Russland in den «Göttingischen Gelehrten Anzeigen» 1801 bis 1809.— In: *Gesellschaft und Kultur Russlands im frühen Mittelalter*./Hg. von E. Donnert. Halle/S., 1981, S. 283—293.
33. Göttingen und die Anfänge der Slavistik. Ausstellungskatalog. Hg. von R. Lauer. Göttingen, 1982, S. 16.
34. Wolle St. August Ludwig von Schlözers Rossica-Rezensionen in den «Göttingischen gelehrten Anzeigen» von 1801 bis 1809.— In: *Jahrbuch für Geschichte der sozialistischen Länder Europas*. Bd. 28. Berlin, 1984, S. 127—148.
35. Hafner St. Das austro-slawische kulturpolitische Konzept in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts.— *Österreichische Osthefte*. Wien, 1963, H. 6, S. 435—444.
36. Saine Th. P. Was ist Aufklärung? Kulturgeschichtliche Überlegungen zur neuen Beschäftigung mit der deutschen Aufklärung.— In: *Aufklärung, Absolutismus und Bürgertum in Deutschland*./Hg. von F. Kopitzsch. München, 1976, S. 322 etc.
37. Vzájemné listy Josefa Dobrovského a Jiřího Ribaye z let 1783—1810. Praha, 1913, s. 149.



ИВАНОВ ВЯЧ. ВС.

СЛАВЯНСКАЯ ПОРА В ПОЭТИЧЕСКОМ ЯЗЫКЕ И ПОЭЗИИ ХЛЕБНИКОВА

Одна из отличительных особенностей поэзии, драматургии и прозы Велимира Хлебникова (1885—1922), сохранившаяся при всем разнообразии его исканий и находок, заключалась в его постоянном внимании к языку¹. В его стихах и поэмах язык никогда не оставался только служебным материалом. Ю. Н. Тынянов писал в 1928 г.: «Новое зрение Хлебникова, язычески и детски смешивавшее малое с большим, не мирилось с тем, что за плотный и тесный язык литературы не попадает самое главное и интимное, что это главное ежеминутно оттесняется „тарю“ литературного языка и объявляется случайностью. И вот случайное стало для Хлебникова главным элементом искусства» [2, с. 292]. Продолжая эту мысль и используя близкий Хлебникову образ подобия «Лобачевского, создающего неевклидову теорию языка», Тынянов утверждал: «Хлебников-теоретик становится Лобачевским слова, он не открывает маленькие недостатки в старых системах, а открывает новый строй, исходя из случайных смещений» [2, с. 293]. Новый строй создавался с помощью эксперимента: опыта построения новых языков и пересоздания языков ранее существовавших.

Первым по времени был язык русских и славянских новообразований. Позднее Хлебников в автобиографической заметке «Своеси» так охарактеризует подход к этим занятиям в своей молодости: «найти, не разрывая круга корней, волшебный камень превращения всех славянских слов, одно в другое — свободно плавить славянские слова, вот мое новое отношение к слову» [3, т. II, с. 9].

В статье «Курган Святогора» (конец 1908 г.) и в стихах, написанных в период увлечения этой ранней лингвистической программой, он излагает ее с помощью слов древнерусского и южнославянского происхождения, таких, как *дебло* 'ствол дерева' (сербск.-хорв. *дебло*), откуда и ранние хлебниковские стихотворные строки, описывающие дерево славянских наречий²: «Домирное дебло мирами зацвело» с пояснением «деблязь, деблязь — дух дебла»³ [5]. Комментарий к приведенным строкам дает статья «Курган Святогора»: «И не должно ли думать о дебле, по которому вихрь-мнимец емлет разнотствующие по красоте листья — славянские языки и о сплюсненном во одно, единый общий круг, круге-вихре-общеславянском слове» [6, т. I, с. 323]. Посылая в марте 1908 г. из Казани 14 своих стихотворений поэту символисту Вяч. И. Иванову, Хлебников в сопроводительном письме писал ему: «Читая эти стихи, я помнил о „все-славянском языке“, побеги которого должны перерасти толщи современного, русского» [6, т. I, с. 354]. В конце статьи «Учитель и ученик» он го-

¹ Из ранних работ, этому посвященных, стоит отметить [1].

² См. комментарий к цитируемым строкам в [4, р. 148, 192].

³ Крученых считает эти строки наиболее ранними из всех, что есть в этой книжке.

ворит о своем интересе к хорватскому проповеднику общеславянского языка Крижаничу [3, т. V, с. 182] ⁴. Для стихов Хлебникова этого времени характерно необычайно широкое использование всех возможных комбинаций русских и других славянских корней с русскими же и другими славянскими суффиксами и приставками: *снег-ич, люб-оч, вид-язь, уз-ывн-о-ст-ынь, бес-тешный, до-вещный, вер-ошь, жар-ошь, зна-юн* и т. п. Кроме многих сотен таких новообразований, употребленных в стихах Хлебникова, сохранились и длинные их списки в его рукописях, относящихся примерно к 1908 г., в частности, в толстой тетради, целиком заполненной такими списками (напечатаны только отдельные их примеры). В тетради новообразования расположены гнездами: *орел, орлиный, орлиности, орличий, орляный, безорлый, орлот, орлунья, орлятки* [8, л. 32] и т. п. Обычно записаны и сочетания с этими словами, иногда уже образующими стихотворные строчки:

орлиности жизни минувшей
 куриности жизни текущей
 змеиности жизни зовущей

с вариациями:

орлиности были минувшей (зачеркнуто: века минувшего)
 куриности нови текущей;

орличий дух орлиной были, орлот судьбы, безорлого неба покой, орляной души смель, орляных далей закат бесстрастных, безорлиный покой, души орляной смель и глаз орлятых хмель, орляной думы ответ старый [8, л. 32],

змеиности спали-ли?
 орлиности звали-ли? [8, л. 33].

Мифологическая тема соотношения орла (и других птиц — постоянного предмета научных и поэтических увлечений Хлебникова) и птенцов орла (орляток) и змеи решается средствами, еще близкими к символизму, но с раздвижением словообразовательных возможностей языка. Эти заготовки при всем огромном интересе, который они представляют для изучения и словообразовательных возможностей русского языка, и поэтики Хлебникова, тем не менее сам Хлебников (в отличие от некоторых его прижизненных и посмертных издателей) никогда не путал с законченными стихами и прозой. Это предварительный лингвистический материал, который Хлебников только отчасти включил в стихи того же времени или в те последующие свои произведения, в которых он продолжал употреблять некоторые из своих новообразований.

Тяготение к общеславянским и древнерусским истокам в те годы у Хлебникова сопровождалось и обращением к мифологическому «домирному», «довещному» времени. Оттого естественно в этих стихах и появление славянских мифологических существ — таких, как Мокошь — женское божество пантеона Киевской Руси, долго сохранявшееся в поверьях русского Севера [9].

Среди стихотворений, посланных двадцатидвухлетним Хлебниковым Вяч. И. Иванову вместе с цитированным выше письмом в марте 1908 г., было следующее, тоже окрашенное в стилистические тона символистской поэзии:

Негошь белых дней,
 Мокошь далеких морей,
 Птиц станицы на клювах примчали.
 Уносился стан певучий,
 Улетали где-то тучи,
 Улетали где-то дали [6, с. 112].

Первая строка открывается новообразованием *негошь*, образованным от *нега* посредством суффикса *-ошь*, в это время в поэтическом языке Хлеб-

⁴ Ср. о Хлебникове и Крижаниче [7, S. 59].

никова продуктивного [4, р. 131]. К этому времени относятся и два списка новообразований Хлебникова, где рядом идут *сухошь-мокошь* (наряду с *зарошь, дебошь, варошь, студошь, жарошь, темошь* [6, т. II, с. 274]) и производные с другими суффиксами [6, т. II, с. 277, 278]. Эта пара противоположных обозначений свидетельствует о проникновении Хлебникова во внутреннюю форму имени древнерусского божества Мокошь. В другом стихотворении этого же времени вместе с Мокошью встречается и название языческих праздников — русалий:

Игралие

Видязь видений безликих
 Вероши в яви.
 Есть узывностынь редкой мечты
 В русалиях яви голубоши.
 Безмерной бесценной беспленной
 Бестешной
 Мокоши
 Русалие
 Есть хлябей мечты,
 Есть Русь хлябей домирного,
 Хлябей довещной черты,
 Домирного мира [3, т. II, с. 270].

В заглавии использовано производное от *играть* — *игралие*, ср. др.-рус. *игральный* (вместо более обычного в древнерусских церковнославянских текстах *игралнице* с южнославянским суффиксом *-ице*), построенное по образцу упомянутого в тексте стихотворения названия языческого праздника русалие⁵, более обычно множественное число: *русалии*, упомянутое в начале стихотворения, от того же корня, что и *русал-ка*. Стихотворение говорит о *видязе* — том, кто видит видения и вместе с тем напоминает *витязя* [4, р. 147, 148], ср. тип *деблязя*, приведенного выше. Видения его поначалу безлики, но в них в яви воплощается его пространство веры (*вер-ошь*, как *пуст-ошь* от *пустой*). Сложное слово *узывностынь*, встречающееся и в другом стихотворении словотворческого цикла (в строке «я — узывностынь мечты»), один из современных исследователей языковых новообразований Хлебникова — автор книги о них Р. Вруун сравнил с иероглифом по тому, насколько это слово емко по своему значению: для его истолкования требуется длинная фраза, что-то вроде 'видимое проявление того, что побуждает уйти на зов прочь' [4, р. 55]. Русалии становятся зримыми: они происходят в голубом пространстве («в русалиях яви голубоши»: *голуб-ошь* как *вер-ошь, пуст-ошь*), что соответствует и образу хлябей, дважды повторяющемуся в стихотворении. Ряд характеризующих женскую (оттого соотносимую с русалиями) богиню *Мокошь* (от корня *мок-р-ый, мок-ну-ть*, что опять заставляет вспомнить те же хляби) прилагательных начинается двумя вполне обычными: *без-мерной, бес-ценной*, и продолжается новыми словами с той же приставкой *бес-*, изобретенными поэтом: *бес-пленной, бес-тешной*; этот ряд начат словом *без-ликих* в первой строчке стихотворения. Строение всего этого текста определяется повторением нескольких суффиксов и префиксов: с самого начала дан ряд родительных падежей имен существительных женского рода на *-ошь*: *вер-оши, голуб-оши, Мок-оши*. Вместе с тем *русалии* по звуковому составу перекликаются со словом *Русь* в конце стихотворения.

В стихах этого времени Хлебников не ограничивается введением имен некогда существовавших славянских божеств. Он сам образует новые мифологические имена. Обычно их понимание не вызывает трудностей, потому что в самом тексте Хлебникова приведен весь тот ряд, в который вхо-

⁵ Тип существительных на *-(а)лице/(а)лье* в новейших специальных исследованиях о словообразовательных новшествах Хлебникова не выделяется, хотя кроме двух указанных слов к нему могут относиться и такие, как *страдали(и)*, без должных оснований причисляемые к типу на *-ль* (ср. [4, р. 109—111]; о типе имен мн. ч. на *-лья*: *грустилья, постылья, морилья, хлысталья* ср. [4, р. 73, 74]).

дит и новое слово, например, *Славяной* при *Водяной*, *домовой*:

Поручейное

В умных лесах правен лесовой,
В милых водах силен Водяной,
В домах честен домовой,
А в народе Славяной.
Так зыбит, снует молва,
С нею славен, славеня⁶ [3, т. II, с. 264].

В обращении к изобретенному им (по образцу древних Даждьбога, Стрибога и т. п.) Жарбогу Хлебников упоминает и его вестников — *жарирей*:

Жарбог! Жарбог!
Я в тебя грезитвой мечу
Дола славный стаедей,
О, взметни ты мне навстречу
Стаю вольных жарирей.
Жарбог! Жарбог!
Волю видеть огнезарную,
Стаю легких жарирей,
Дабы радугой стожарною
Вспыхнул морок наших дней [3, т. II, с. 264—265].

Вариацию на ту же тему (возможно, часть той же поэтической композиции, издателем разделенной) представляет часть словотворческого стихотворения цикла, где *огнебог* — синоним *жарбога*:

В думном мареве о боге
Я летел в удел зари...
Обгоняли огнебоги,
Обгоняли жариряи.
Обожелые глаза!
Омирелые власа!
Овселешелая рука!
Орел сумеречных крыл
Землю вечером покрыл.
«Вечер сечи ведьм зари»
Прокричали жариряи [3, т. II, с. 18].

В эту раннюю пору сочинения стихов Хлебников обращен к доистории, к предыстории, ко всему, что обозначается приставками *до-*, *пра-*: *доисторический*, *празыковый*. Сами суффиксы, с которыми он экспериментирует, ведут его к пониманию слов как обозначений языческих божеств: *Время* — главная героиня всех его сочинений (см. подробно об этом в [10; 11, с. 119—130]), (но и не только его; С. М. Эйзенштейн как-то назвал время «центральной персонажем двадцатого столетия») — в стихах этого периода оказывается «жницей Временией» [6, т. I, с. 110]. В ее имени угадывается тот же суффикс, что и в древнерусском названии языческих мифологических существ — *Берег-уни*, Хлебниковым упоминаемых [3, т. II, с. 261]. Такими же существами становятся и облака, когда Хлебников в одном из стихотворений, посланных в 1908 г. Вяч. Иванову, их называет *Облакини* [6, т. I, с. 115].

К наиболее художественно интересным свидетельствам опытов Хлебникова тех начальных лет принадлежит написанная в том же 1908 г. пьеса «Снежимочка» [6, т. I, с. 64—75] (с вариантом «Снезини»; пьеса навеяна упомянутой в ней «Снегурочкой» Островского и в одном варианте в подзаголовке названа «Подражание Островскому»), где действуют вместе с обычными городскими жителями разнообразные славянские мифологические лесные персонажи, названные соответствующими именами (*снез-уни*, *смех-уни*, *нем-уни*, *слеп-уни*). Такие имена правдоподобных мифологических героев пьесы, как *Березомир*, свидетельствуют о необычайно глубоком проникновении Хлебникова в суть древней славянской мифо-

⁶ Разрядка моя. — Вяч. Вс. II.

логии и языковых способов ее выражения (свидетельства культа березы у восточных славян, о которых Хлебников едва ли знал, обнаружены недавно — см. литературу к статье «Береза» в [12]). Но в пьесе, написанной в духе романтической иронии (возможно связанной с влиянием театра Блока), движение за восстановление славянской и русской старины в языке и обычаях изображено гротескно. Пока «начинаются состязания русских в беге, борьбе, звучобе и славобе», героиня пьесы — Снежимочка — исчезает — растворяется (тает). Голоса удаляющихся пророчествуют перемены, хотя и в них повторено: «Восставим гордость старой были».

В опытах изучения старины Хлебникову помогали скитания по России и Украине, где в деревнях он мог еще наблюдать остатки древних обычаев и верований. Так, есть основания думать, что в поэме «Поэт» Хлебников описал обряд «Проводов русалки», который в его время еще можно было наблюдать в деревнях (в Тамбовской губернии в конце весны 1914 г. этот обряд видел Н. Евреинов, чей рассказ мог послужить источником и для Хлебникова [13]). Языческая Русь еще была жива, как писал о том Блок в своей студенческой работе о поэзии заговоров и заклинаний, косвенно оказавшей существенное влияние и на Хлебникова. Многие были Хлебниковым почерпнуто и из чтения фольклорных текстов. «Плоскость» в «Зангези», где в качестве главных персонажей выступают Горе и Смех, написана под воздействием народной повести о Горе-Злочасти и примыкающих к ней сочинений. Для выявления языковых и мифологических черт славянской старины Хлебников серьезно занялся славянской филологией. Недаром в 1909 г. он перешел в Петербурге на 1 курс славяно-русского отделения историко-филологического факультета, где числился до 1911 г., когда был исключен за неуплату должных взносов. Полагают, что Хлебников был членом университетского «кружка славяноведения». Он задумывал проведение «славянского вечера» с участием Вяч. И. Иванова и С. Городецкого [14, с. 224; 11, с. 200].

Хлебников проходит через время увлечения южнославянским фольклором (особенно черногорским) и наречиями (недавно об этом подробно писал А. Е. Парнис [14]); задумывает поездку в Черногорию. С этим было связано написание поэмы «Вила и леший» (Вилы — южнославянские женские мифологические существа). Посылая А. Е. Крученых в начале 1913 г. набросок этой поэмы, Хлебников писал среди других о «любопытной задаче» «заглядывать в словари славян, черногорцев и др. — собирание русского языка не окончено — и выбрать многие прекрасные слова, именно те, которые прекрасны. Одна из тайн творчества — видеть перед собой тот народ, для которого пишешь, и находить словам место на осях жизни этого народа, крайних точек ширины и вышины» [3, т. V, с. 298]. Осенью того же года он продолжает эту мысль: «Запаситесь словарем чешским, польским, сербским и еще одним каким-нибудь и выбирайте слова, понятные сами по себе, например, чешское слово жас вместо русского ужас. Напишите: мы уничтожили славянские наречия, зажавши сих агнцев на жертвеннике русского языка, оставили русские языки (т. е. сохранили)» [3, т. V, с. 302]. В одной из заметок Хлебников говорит о «черногорских» сторонах русского языка. В неизданных рукописях Хлебникова есть немало примеров слов, взятых из разных славянских языков: сербо-хорватского (*юнак*), болгарского (*шума* 'лес'), польского (*дзяды*), лужицких (*метава*) и др. Особенно велико число украинских слов, введенных им в стихи. По поводу своей пьесы «Девий бог» Хлебников писал, что в ней он «хотел взять славянское чистое начало в его золотой липовости с нитями, протянутыми от Волги в Грецию. Пользовался славянскими полабскими словами (Леуна)» [3, т. II, с. 7]. В тексте пьесы так передано русскими буквами (достаточно верно) название Луны в мертвом западнославянском полабском языке, известном по записям, сделанным латинскими буквами с немецким переводом. От этого слова образовано *леунность* (ср. *лунность*), встречающееся в его стихах. Герой пьесы Хлебников говорит «теперь же я иду к той, к которой я цветок, поворачивающий к ней голову, как к ночной Леуне» [3, т. IV, с. 182]. Одна из девушек-латниц говорит о нем: «Он проходит между деревьями, посвященными Леуне» [3, т. IV,

с. 18]. В заметке «О расширении пределов русской словесности» Хлебников писал: «Рюген, с его грозными божествами, и загадочные поморяне, и полабские славяне, называвшие Луну Леуной, лишь отчасти затронуты в песнях Алексея Толстого» [6, т. II, с. 341].

В пьесе «Девий бог» Хлебников попытался изобразить жречество, храмы и предметы поклонения (меч в храме, кумиры богов, в том числе с цветочными эпитетами, священная роща) у этих средневековых западных славян, налагая их мифологию на древнегреческую. По его словам, пьеса возникла как чистая импровизация в процессе непрерывного письма без единой поправки, на что ушло 12 часов. Следовательно, у него не могло быть времени для справок (да у него и не было обычно с собой книг, и рукописи в очень малой степени находились у него самого, поэтому едва ли он мог справляться в выписках из книг). Поэтому для того, чтобы написать пьесу, где использованы многие данные из средневековых описаний балтийских славян, он предварительно должен был достаточно основательно ими заниматься. Начало «Девьего бога» написано сказовым языком, обнаруживающим воздействие и фольклора, и таких авторов, как Ремизов, которому Хлебников показывал свою пьесу.

В попытках охватить весь славянский мир Хлебников намечал проникнуть не только в еще не охваченные до того русской литературой области западного и южного славянства, но и лучше узнать историю и наречия восточнославянские: по мысли Хлебникова, русская словесность «мало затронула Польшу. Кажется, ни разу не шагнула за границу Австрии. Удивительный быт Дубровника (Рагузы), с его пылкими страстями, с его расцветом, Медо-Пудичами остался неизвестен ей. И таким образом, славянская Генуя или Венеция остались в стороне от ее русла... Самко, первый вождь славян, современник Магомета и, может быть, северный блеск той же зарницы, совсем не известен ей. Более, благодаря песни Лермонтова, посчастливилось Вадиму; Управда, как славянин или русский (почему нет?), на престоле второго Рима также за пределами таинственного круга... В промежутках между Рюриком и Владимиром или Иоанном Грозным и Петром Великим русский народ для нее не существовал... Удельный строй, кроме Новгорода, Псков и казацкие государства остались в стороне от ее русла. Она не замечает в казаках низшей степени дворянства, созданной духом земли» [6, с. 341]⁷. В ранних стихах Хлебникова воспеты казацкий гетман Острица, донские казацкие атаманы Платов и Бакланов, украинский народный герой Морозенко, иннок Ослябя, с Дмитрием Донским ходивший походом на Мамай. В самом размере стихотворения можно услышать отзвук ритма украинской народной песни:

Будьте грозны как Острица,
Платов и Бакланов,
Полно вам кланяться
Роже бусурманов.
Пусть кричат вожжаки,
Плюньте им в зенки!
Будьте в вере крепки,
Как Морозенки!
..С толпою прадедов за нами
Ермак и Ослябя.
Вейся, вейся, русское знамя,
Веди через сушу и через хляби!... [16].

4-й «парус» (часть) «Детей Выдры», озаглавленный «Смерть Паливоды», излагает эпизод истории Запорожской Сечи. В стихотворении «Из песен гайдамаков» воспоминания о казацкой вольнице изложены с искусным вкраплением украинских, польских и латинских речений. Фрагменты польской истории оживают в стихотворениях Хлебникова: история Сапеги, убитого на сейме, служит основой образа в стихотворении «Мои глаза бре-

⁷ Ср. близкие мысли в новой публикации статьи того же времени [15].

дут как осень». «Шагнув за границу Австрии», Хлебников пишет стихотворную балладу о Марии Вечоре, покончившей с собой любовнице эрцгерцога Рудольфа. В письме Крученых в 1913 г. Хлебников среди задач намечал «составить книгу баллад (участники многие или один). Что? — Россия в прошлом, Сулимы, Ермаки, Святославы, Минины и пр., Вишневецкий»; «воспеть задунайскую Русь, Балканы», «заглянуть... в Польшу» [3, т. V, с. 298]. К числу «баллад» несомненно принадлежала «Что ты робишь, печенеже» о Святославе (печатается под совершенно условным названием «Написано до войны»). В 6-ом «парусе» «Детей Выдры» диалог великих полководцев древности (Ганнибала и Сципиона) со Святославом, Пугачевым, Самко, Яном Гусом, Ломоносовым, Разиным, Волынским прерывается «воплем духов»:

На острове вы. Зовется он Хлебшиков...

Далее голос «Множеств» утверждает:

Так толпой взошли вы в душу
Вышшим маннем руки [3, т. II, с. 178, 179].

Голос же «из нутра души» самого Хлебникова в конце этого «паруса» (перед «Советом» с духами) обращается к ним:

О, духи великие, я вас приветствую,
Мне помогите вы: видите, бедствую?
А вам я, кажется, сродни
И мы на свете ведь одни [3, т. II, с. 178—179].

Духов из великого прошлого России и других славянских стран Хлебников вызывал и для поддержания собственного мужества.

То, в какой мере Хлебников стремился быстро осуществить свой план «расширения пределов русской словесности» в сторону Чехии, Польши и других славянских стран, может служить хорошей иллюстрацией сочетания его научных занятий (в этом случае — историко-филологических) с литературными.

В 5-ом «парусе» «Дети выдры» есть строки, где соответствующие друг другу по законам сравнительного языкознания равнозначные слова восточнославянских языков — названия дня и ночи в русском, украинском и белорусском образуют строки, которые Хлебников истолковывает как выражение «всеобщего единства»:

О день и динь и дзень!
О ночь, нуочь и ничь!
Морской прибой всеобщего единства [3, т. II, с. 168].

Позднее соотношения между гласными разных языков, в том числе в рус. *ночь* — укр. *ніч*, польск. *góry* — рус. *горы*, опираясь на экспериментально-фонетические данные Щербы, Хлебников задумал описать математически. Эти законы «малых небес азбуки» для него входили «в единую формулу мира» [11, с. 128]⁸. Но новым в этом замысле, относящемся к работе над «Досками судьбы», было математическое обоснование. Сама же мысль о том, что в соответствиях между словами родственных языков, в «волшебном камне превращения всех славянских слов» улавливается „всеобщее единство“ была и у раннего Хлебникова.

Эстетическая сторона лингвистической науки захватывает Хлебникова. В ней ему виделось и проявление единства всего со всем. С занятием сравнительным языкознанием как наукой, открывающей путь к восстановлению прошлого, сопряжен и период занятий Хлебникова санскритом и сравнительно-исторической грамматикой индоевропейских языков (или, как неудачно их тогда называли, «арийских»: в точном смысле «арийский» — самоназвание только части индоевропейских языков — индоиранских). Среди утопических «предложений» Хлебникова, датируемых временем первой мировой войны, есть и задача «создать общий письменный язык арий-

⁸ Здесь же ссылки на единицы архивного хранения.

цев, научно построенный» [3, т. V, с. 157]. Для иллюстрации общего в разных языках Хлебников в статье «Художники мира» в мае 1919 г. приводит то, что «вритти и по-санскритски значит вращение» [3, т. V, с. 220]. Думается, что косвенный след занятий Хлебникова санскритом можно найти в его прозе, в таких сложных словах, которые нельзя понять иначе, как попытку передать по-русски типичные сложные слова классического санскрита, как «стадо-рого-хребто-мордо-струйная река» [3, т. IV, с. 13]. Любопытно, что приведенное санскритообразное сложное слово встречается в той ранней прозе «Песнь мирязя», где есть, по свидетельству самого Хлебникова, попытки ввести «черногорские» (южнославянские — сербо-хорватские) черты в русский язык. Если двучастные словосложения в этой прозе («локтерогои», «морезыбейный») можно считать построенными по старославянскому образцу (возможно и с учетом греческих прообразов церковнославянских сложных слов), то сложные слова из многих частей, как приведенные выше, скорее всего ориентировались на санскритский образец. Санскритом Хлебников занимался в 1909 г., когда он с этой целью перевелся с физико-математического факультета на факультет восточных языков Петербургского университета по разряду санскритской словесности. Хотя на нем он числился недолго (и вскоре перешел на славяно-русское отделение), в его произведениях сохранились многочисленные следы занятий древнеиндийским языком, а также философией, религиями и историей Индии. В прозаическом произведении «Есир» приводится текст одного из гимнов «Ригведы», переданного (достаточно точно, если исправить ошибки посмертной публикации, в которых автор не повинен) русскими буквами и сопровождаемого русским переводом. И в «Есире», и в «Детях выдры», и в поэме «Хаджи-Тархан» Хлебников возвращается к постоянно его занимавшему древним торговым путем, соединявшим Россию с Индией. Индийская тема возникает и в поэзии Хлебникова [17; 7]⁹.

Позднейший период творческого экспериментирования с поэтическим языком у Хлебникова был направлен к поискам разных форм универсальных связей звука и значения. Эти поиски выводили его за пределы и славянских, и — шире — индоевропейских языков. Но он постоянно следовал завету находить опору в славянской, прежде всего русской, народной поэзии, превознесение которой (в противоположность символистской литературе) содержится в статье «Учитель и ученик» и в некоторых других ранних теоретических опытах поэта. Ее пример он приводит для пояснения новых своих мыслей.

В наиболее ясно изложенных программных статьях, говоря о «заумном» (транспрациональном) языке, Хлебников четко противопоставлял обыденную деловую речь и речь поэтическую, содержащую в явном виде заумные звуки и слова: «Говорят, что стихи должны быть понятны... С другой стороны, почему заговоры и заклинания так называемой волшебной речи, священный язык язычества, эти „шагадам, магадам, выгадам, пиц, пац, пацу“ — суть вереницы набора слогов, в котором рассудок не может дать себе отчета, и является как бы заумным языком в народном слове. Между тем этим непокорным словам приписывается наибольшая власть над человеком, чары ворожбы, прямое влияние на судьбы человека. В них сосредоточена наибольшая чара. Им предписывается власть руководить добром и злом и управлять сердцем... Молитвы многих народов написаны на языке, непонятном для молящихся. Разве индус понимает Веды? Старославянский язык непонятен русскому. Латинский — поляку и чеху. Но написанная на латинском языке молитва действует не менее сильно, чем вывеска. Таким образом, волшебная речь заговоров и заклинаний не хочет иметь своим судьей будничным рассудок.

Ее странная мудрость разлагается на истины, заключенные в отдельных звуках: ш, м, в и т. д. Мы их пока не понимаем. Честно сознаемся. Но нет сомнения, что эти звуковые очереди — ряд проносающихся перед сумерками нашей души мировых истин. Если различать в душе пра-

⁹ Здесь же дальнейшая литература вопроса.

вительство рассудка и бурный народ чувств, го заговоры и заумный язык есть обращение через голову правительства прямо к народу чувств, прямой клич к сумеркам души или высшая точка народовластия в жизни слова и рассудка, правовой прием, применяемый в редких случаях...» [3, т. V, с. 225]. В комментарии нуждается пример заговора, начинающийся с «шагадам»; Хлебников цитирует здесь свою «Ночь в Галиции», где русалки «держат в руке учебник Сахарова и поют по нему» [3, т. II, с. 200]:

Руахадо, рындо, рындо.
Шоно, шоно, шоно.
Пинцо, пинцо, пинцо.
Пац, пац, пац [3, т. II, с. 201].

В следующей части композиции хор русалок продолжает:

Ио, на, цолк.
Ио, на, цолк.
Пиц, пац, пацу,
Пиц, пац, паца.
Ио, на, цолк, но, на, цолк,
Копоцамо, миногоамо, пинцо, пинцо, пинцо! [3, т. II, с. 201].

На что ведьмы отвечают:

Шагадам, магадам, выгадам,
Чух, чух, чух.
Чух. [3, т. II, с. 201].

Этот ранний образец фольклорной зауми у Хлебникова разъясняется благодаря воспоминаниям Р. Якобсона. По его словам, внимание его еще около 1909 г. было привлечено к заумным русским народным заговорам, когда была опубликована статья Александра Блока о поэзии народных заговоров и заклинаний (см. [18]). Блок приводил заумный заговор:

Ау, ау, шихарда кавда!
Шивда, вноза, митта,
Каланди, инди, якуташма биташ,
Окутоми ми нуффан, зидима....

Блок пояснял: «Для отогнания русалок есть заповедные слова и странные колдовские песни, состоящие из непонятных слов» [19]. По словам Якобсона, перед началом первой мировой войны он поделился с Хлебниковым собранными им образцами подобных заумных заговоров, которые частично вошли позднее в цитированные куски «Ночи в Галиции». Вернувшись в своей последней книге к анализу подобных заклинаний Якобсон отмечал наличие в этих текстах, как и в образцах глоссалалии на других языках, сочетания *нд* (допускающего фонетическое истолкование как преназализованный смычный) — *каланди, инди* в примере у Блока, ср. *рындо* у Хлебникова.

Научный анализ зауми и глоссалалии, начатый Якобсоном в развитие ранних опытов русских символистов (Блока и Андрея Белого, посвятившего «глоссалалии» в поэтической речи особую книжечку), связан с той же проблемой, которая представляется основой и для хлебниковской теории зауми: чрезвычайно трудно отделить явления, специфичные для данного определенного языка, от таких звуковых черт, в которых (как, возможно, в преобладании форм с преназализацией) можно видеть проявление общеязыковых характеристик, лежащих вне конкретного языка. Из использованных в «Ночи в Галиции» заговорных текстов кроме возможно преназализованного сочетания с аффрикатой *нц* в повторяющемся *пинцо* стоит отметить явную оппозицию гласных: *пиц* — *пац* (ср. звуковую символику подобных противопоставлений гласных, которые Хлебников называл «внутренним склонением» в разных языках), а также чрезвычайно любопытную пару *шагадам, магадам*. Широкое распространение таких сочетаний с *м*- во втором слове исключает один единственный их источник (например, тюркский) и заставляет искать в них, как и в других с ними

сходных, проявлений некоторых общечеловеческих языковых устремлений. Надо отдать должное прозорливости Хлебникова, включившего в «Ночь в Галиции» именно те куски заумных заговоров, где особенно отчетливо выявлены подобные общечеловеческие языковые свойства.

Если в приведенном выше теоретическом отрывке (и некоторых других аналогичных) Хлебников поясняет свои мысли о заумном языке примерами из русских народных заговоров, то в его собственной поэзии сохранился, пусть в преобразованном виде, след ранних увлечений славянскими словами и новообразованиями. В частности, в «сверхповести» «Зангези», где Хлебников сводит воедино все свои опыты языковых новшеств, каждому из которых отводится своя «плоскость» со своим языком и «уставом», одна из «плоскостей» (XIII) воплощает его ранние идеи славянского единого языка:

Они голубой тихославль,
Они голубой окопад,
Они в никогда улетабль,
Их крылья шумят невпопад.
...Летавель могучей виданой
Этой безвестной и странной,
Крылом белоснежные махари,
Полета усталого знахари,
Сияны веянами дахари. [З, т. III, с. 340, 341]¹⁰.

Пойдя дальше, Хлебников от своих открытий ранней поры не отказался, но отвел им более скромную роль — только одного из многочисленных способов поэтического выражения.

ЛИТЕРАТУРА

1. Гофман В. Языковое повторство Хлебникова. — В кн.: Гофман В. Язык и литература. Л., 1936.
2. Тьянов Ю. Н. О Хлебникове. — В кн.: Тьянов Ю. Н. Проблемы стихотворного языка. Статьи. М., 1965.
3. Хлебников В. Собрание произведений. Т. I—V. Л., 1929—1933.
4. Vroop R. Velimir Xlebnikov's shorter poems. A key to the coinages. Michigan Slavic Materials, Ann Arbor, 1983, № 22.
5. Записная книжка Велимира Хлебникова. Изд. А. Е. Крученых. М., 1925, с. 4—5.
6. Хлебников В. Незданные произведения. Поэмы и стихи. Ред. и комм. Н. Харджиева. Проза. Ред. и комм. Т. Грица. М., 1940.
7. Mirsky S. Der Orient im Werk Velimir Chlebnikovs. Slavistische Beiträge, Bd. 85. München, 1975.
8. ЦГАЛИ, ф. 527, оп. 1, 60.
9. Иванов Вяч. Вс., Топоров В. П. К реконструкции Мокоши как женского персонажа в славянской версии основного мифа. — В кн.: Балто-славянские исследования. М., 1983, с. 175—197.
10. Иванов Вяч. Вс. Категория времени в искусстве и культуре XX века. — В кн.: Ритм, пространство и время в литературе и искусстве. Л., 1974.
11. Григорьев В. П. Грамматика идиостилия. В. Хлебников. М., 1983.
12. Мифы народов мира. Т. I. М., 1980, с. 169.
13. Lönhqvist B. Xlebnikov and Carnival. An Analysis of the Poem *Poet*. — Acta Universitatis Stockholmiensis, Stockholm Studies in Russian Literature, 9. Stockholm, 1979, p. 16—18.
14. Парнис А. Е. Южнославянская тема Велимира Хлебникова. Новые материалы к творческой биографии поэта. — В кн.: Зарубежные славяне и русская культура. Л., 1978.
15. Хлебников В. Памятники. — Вопросы литературы, 1985, № 10.
16. Хлебников В. Стихотворения и поэмы. (Библиотека поэта. Малая серия). Л., 1960, с. 74.
17. Иванов Вяч. Вс. Структура стихотворения Хлебникова «Меня проносят на слоновых...». — Труды по знаковым системам, III. Тарту, 1967.
18. Якобсон Р. Избранные работы. М., 1985, с. 6.
19. Блок А. Поэзия заговоров и заклинаний. — Собр. соч., т. 5. М.—Л., 1962, с. 59.

¹⁰ Построение «сверхповести» из отдельных плоскостей, каждая из которых отвечает особому «речевому жанру» (в смысле М. М. Бахтина и А. Вержбицкой), объединяет Хлебникова со многими новаторами в литературе и искусстве XX в., такими как Джойс и Шёнберг.



ИЗУЧЕНИЕ ДИАЛЕКТНОГО СИНТАКСИСА СЛАВЯНСКИХ ЯЗЫКОВ МЕТОДОМ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ГЕОГРАФИИ

Ареальное изучение диалектного синтаксиса в силу ряда причин началось позже по сравнению с другими уровнями и до определенного времени считалось проблематичным. Сложность собирания и интерпретации синтаксического материала, а также его картографирования вызывается прежде всего тем, что синтаксический уровень как наиболее значимый является в большей степени функциональным по сравнению с другими, его функциональность превалирует над структурностью. И если структурный синтаксис сравнительно легко поддается описанию и картографированию, то о функциональном, как и о семантике в широком смысле, этого сказать нельзя.

Не менее серьезной причиной позднего изучения синтаксиса методом лингвистической географии является то, что на синтаксическом уровне говоры дифференцируются иначе, поэтому этот уровень, как правило, плохо соотносится с другими уровнями, изменяя картину в целом. Как и лексический уровень (тоже в высокой степени функциональный), синтаксический не только иначе членит говоры по сравнению с фонетическим и морфологическим, но и не дает четких изоглосс на достаточно большой территории.

Только в последние десятилетия диалектный синтаксис начал изучаться в ареальном отношении, чему способствовало развитие синтаксической теории в целом.

В настоящее время накоплен большой диалектный материал по синтаксису, появились серьезные исследования, а также отдельные синтаксические карты в исследованиях и атласах (прежде всего для восточнославянских диалектов). В связи с работой по сбору материала для Общеславянского лингвистического атласа (а в настоящее время и для Европейского атласа) большой материал по диалектному синтаксису собран на всей славянской территории. Очень важно, чтобы этот материал был полностью опубликован (независимо от появления синтаксических карт).

О необходимости изучения диалектного синтаксиса ареальным методом в начале 60-х годов писал В. И. Борковский, отмечавший, что «в программах собирания сведений по говорам русского, украинского и белорусского языков вопросы по синтаксису всегда занимали весьма скромное место, причем вопросы зачастую ставились так, что ответы на них не могли раскрыть сущности синтаксического явления...» [1, с. 336]. В. И. Борковский отмечал, что «Программа собирания сведений для составления диалектологического атласа русского языка» (М. — Л., 1947) содержит 23 вопроса по синтаксису (только по синтаксису простого предложения) из 294; «Программа для збирання матеріалів до діалектологічного атласа української мови» (Київ, 1948) — 53 вопроса из 526 (в том числе

5 вопросов по синтаксису сложного предложения); «Програма па вывучэнню беларускіх гаворак і збіранню звестак для складання дыялекталагічнага атласа беларускай мовы» (Мінск, 1950) — 30 вопросов из 301. Появившиеся в середине 50-х годов программы для собирания сведений по Латышскому [2] и Литовскому [3] атласам содержали уже больше вопросов по синтаксису: первая — более 100 вопросов из 670, вторая — 65 из 370. Собранный материал для атласов литовского и латышского языков (а также пробные синтаксические карты) может быть использован для сопоставления с материалом разных славянских говоров. Такой путь исследования славянского диалектного синтаксиса оценивался как очень плодотворный многими лингвистами (В. И. Борковский, Т. П. Ломтев, Ю. С. Степанов, В. Амбразас, Я. Бауэр, П. Трост и др.).

В разработку вопроса об ареальном изучении диалектного синтаксиса большой вклад внес крупный чешский лингвист Я. Бауэр, посвятивший этому специальные работы, в одной из которых он разработал вопросник, предлагая включить его в славянский языковой атлас [4]. Я. Бауэр считал, что ядром синтаксического вопросника следует сделать предложения: типы предложений, члены предложения и сложное предложение [4, с. 100—102]. Считая очень важным изучение синтаксиса методом лингвистической географии и особенно плодотворным — сравнение с балтийскими языками, Я. Бауэр сомневался в возможности реконструкции праславянского синтаксиса, считая, что дивергентное развитие могло нарушить исконную общность, а конвергентные тенденции «вели к параллельному зарождению многих новых синтаксических факторов, которые нельзя относить к праславянскому языку» [4, с. 12—13]. Нельзя не согласиться и с положениями Я. Бауэра, что «при оценке синтаксических средств приходится иметь в виду, что после возникновения нового средства старое обычно не отмирает, а продолжает существовать; при этом изменяется его место в системе» [4, с. 18], и что именно такое сосуществование новых и старых средств в синтаксической системе затрудняет хронологию синтаксических явлений [4, с. 193].

Изучение диалектного синтаксиса методом лингвистической географии началось под руководством Р. И. Аванесова при собирании материалов и составлении восточнославянских языковых атласов. Пионерами такого изучения были русские диалектологи И. Б. Кузьмина и Е. В. Немченко. В их работах приводятся карты и подробно описываются ареалы отдельных русских диалектных явлений на синтаксическом уровне, ими были разработаны принципы картографирования синтаксических явлений, описаны отдельные синтаксические особенности в академической «Русской диалектологии», вышедшей в свет в середине 60-х годов, и в пособиях по русской диалектологии, составлены синтаксические карты для языкового атласа русского языка. По этим картам можно судить о распространении на русской территории предикативного употребления деепричастной формы на *-ши*; именительного объекта при инфинитиве и слове *надо*; безличных конструкций типа *у kota на печку забранось, у них утром пойдено* и под.; субъектного генитива; предлогов *с, з, из* в пространственных конструкциях; объектно-целевых конструкций с предлогами *по* и *в*; сложных предлогов *по-над, по-под* и подобных; предлогов *подле, возле, мимо, над* с именами в винительном; вопросительных частиц и разделительных союзов *ти, чи*; конструкций типа *два мальчики, два столбы*; постпозитивных частиц *то, да, дак* и т. п.

Принципы, разработанные составителями языкового атласа русского языка, положены в основу синтаксических карт «Дыялекталагічнага атласа беларускай мовы» (ДАБМ), вышедшего в Минске в 1963 г. ДАБМ содержит 22 синтаксические карты, дающие представление о распределении на территории Белоруссии синтаксических явлений на уровне словосочетания, простого предложения и управления отдельных глаголов.

Изучение диалектного синтаксиса активизировалось, когда в соответствии с решением IV Международного съезда славистов началась работа над Общеславянским лингвистическим атласом (ОЛА). В 1965 г. появилась «Вопросник ОЛА», который охватывал все языковые уровни, в том

числе и синтаксический. Вопросник содержал около 100 вопросов по синтаксису, но ответы на большинство из них собирались, к сожалению, только в разреженной (опорной) сетке населенных пунктов, а в основной сетке давались только ответы на небольшое количество вопросов (немногим более 10).

Материалы для ОЛА были собраны в 1965—1975 гг. [5], они, «как и современные исследования, не подтверждают традиционную точку зрения, согласно которой некогда единый праславянский язык распался на юго-восточную и западную группы, а потом первая из них — на южную и восточную, что привело к разграничению трех славянских языковых групп: южной, восточной и западной. Материалы ОЛА подтверждают, что процесс распада славянского языкового единства был много сложнее» [5, с. 29]. В результате анализа материала, собранного для ОЛА, исследователи пришли к выводу, что «реликты балто-славянских контактов обнаруживаются иногда в очень далеких друг от друга пунктах славянской языковой территории...» [5, с. 30].

Анализ «Вопросника ОЛА» и собранного по нему материала дает возможность синтаксистам-диалектологам осветить многие вопросы.

О формировании в славянских языках посессивных конструкций, предикат которых может быть возведен к индоевропейскому перфекту (по Э. Бенвенисту), дадут представление ответы на вопросы 2996—3000, а ответы на вопросы 2906, 3120, 3121 редкой сетки дадут представление о судьбе субъекта в посессивной конструкции. Формирование безличных конструкций в славянских языках отразится в ответах на вопросы 3122, 3124—3126 густой сетки. Вопросы 3125, 3126 касаются конструкций, в которых выступает агент «не-лицо», «не живое существо». Ответы на вопросы 3123, 3127, 3128 покажут, как в славянских языках выражаются неопределенно-личные отношения. Ответы на вопросы 3110, 3113—3115 дадут представление о развитии в славянских языках вопросительных предложений (отношения персуазивности), а 3111, 3112 — представление о конструкциях ответов на вопросы. Материал вопросов 3116—3119 даст представление о развитии бытийных конструкций в славянских языках. Славянские конструкции с модальными значениями представлены в ответах на вопросы 3107—3109. Развитие однородных членов предложения в славянских языках и сведения о союзах при однородных членах содержат ответы на вопросы 3129—3131, 3133, 3135—3137.

Развитие сложносочиненных противительных и сопоставительных предложений и союзных средств связи отражено в ответах на вопросы 3132, 3134. Сложноподчиненным предложениям с присловными (так называемыми изъяснительными) придаточными при глаголах определенной семантики («знать», «сказать», «видеть», «слышать») посвящены вопросы 3138—3140, присубстантивным (определятельным) придаточным предложениям — вопросы 2878, 2879, обстоятельственным придаточным предложениям — вопросы 3141—3148 (временные), 3144 (причинные), 3145, 3146 (условные), 3147 (уступительные).

Анализируя материалы, собранные для ОЛА, можно проследить формирование в славянских языках в составе простого предложения: 1) поля субъекта: 2906, 3120, 3121 — субъект в посессивных конструкциях, 3099 — субъект при «результативном перфекте», 3126 — субъект «не-лицо»; 2) поля предиката: 3099 — «результативный перфект», 3100 — «новый перфект», 3017—3028 — так называемое именное сказуемое; 3) поля объекта: 2978, 2979 — объект при компаративе, 2915, 2916, 2924 — объектно-целевое микрополе; 4) обстоятельственных полей: 2917 — времени, 2909—2911 — места, 2913, 2914 — направления движения, 2912, 2918, 2922 — пространства.

В отдельных ответах прослежена судьба славянских падежей: 3027, 3028 — двойного винительного, 2907, 2908 — творительного инструментального и творительного вещества, 2904, 2905 — партитивного родительного.

Тщательное изучение, описание и картографирование синтаксического материала, собранного для ОЛА, — дело не одного года и даже не одного

десятилетия. В будущем, описанный полностью, этот материал даст интереснейшую картину славянского ареала на синтаксическом уровне.

Вопросник языкового атласа Европы (ALE) содержит 55 синтаксических вопросов, которые касаются выражения субъекта, предиката, объекта при переходных и непереходных глаголах, порядка слов в предложении (препозиции и постпозиции), отрицательных, сравнительных, пассивных и посессивных конструкций, судьбы отдельных падежей, артиклей и т. п. [6, р. 22—64].

Конечно, выход в свет ОЛА и ALE приведет к пересмотру многих установленных в настоящее время представлений о диалектном синтаксисе, тем не менее это не означает, что уже в настоящее время невозможно типологическое и лингвогеографическое изучение синтаксиса отдельных диалектов по более густой, нежели в этих атласах, сетке, а собранный для ОЛА и для Литовского и Латышского атласов синтаксический материал дает возможность рассмотрения синтаксиса любого славянского диалекта на широком фоне.

В середине 70-х годов появились лингвогеографические работы И. Г. Матвиея [7] и С. П. Бевзенко [8; 9] по украинскому диалектному синтаксису. И. Г. Матвиея приходит к выводу, что группы украинских говоров выделяются не на основании синтаксических особенностей, а на основании фонетических, морфологических и лексических, так как синтаксический уровень, как правило, не соотносится с другими уровнями [7, с. 20]. Но, характеризуя материалы, собранные для ОЛА, Атласа украинского языка, отдельных региональных атласов украинского языка, автор определяет границы распространения отдельных синтаксических диалектных явлений, в результате четко противопоставляются западные и восточные украинские говоры (юго-запад и юго-восток), выявляются особенности, свойственные полесским, карпатским, подольским, надднестровским говорам. Данные, введенные в лингвистику И. Г. Матвиеем и С. П. Бевзенко, уже сейчас дают возможность использования украинского диалектного синтаксического материала для типологических исследований.

Материал по диалектному синтаксису славянских и балтийских языков позволяет ставить и решать вопросы о взаимоотношениях отдельных диалектов славянских и балтийских языков на синтаксическом уровне. Рассмотрим это на примере небольшой территории переходных русско-белорусских говоров Смоленщины, которая непосредственно примыкает к Белоруссии и соотносится с ней в лингвистическом и этнографическом плане, имеет много общего в истории.

На пограничной с Белоруссией территории Смоленщины (бассейн рек Зап. Двина, Днепр, Каспля, Сож с притоком Вихра) издавна проживали кривичи и радимичи, как и на большей части современной Белоруссии. В настоящее время историки считают, что славянские племена, названия которых нам известны из «Повести временных лет», не были едиными племенами; области, которые они занимали, были очень обширны, и «тщательное изучение этих областей показывает, что каждая из них являлась объединением нескольких мелких племен, названия которых в источниках по истории Руси не сохранились» [10, с. 46]. Области восточных славян, в том числе кривичей и радимичей, следует рассматривать как территории не племен, а федераций, союзов племен, процесс формирования которых особенно интенсивно протекал в V в. Положение о союзе племен в какой-то степени подтверждается изучением формирования на этой территории поля объекта.

Появление объекта в языке, как считают исследователи, связано со становлением категорий вида, залога, переходности. Формирование этого поля началось в рассматриваемых говорах очень давно, а картина, которую мы наблюдаем в настоящее время, свидетельствует о том, что этот процесс на рассматриваемой территории проходил своеобразно и в большой степени связан со становлением категории одушевленности/неодушевленности (параллельное существование в отдельных микросистемах конструкций *пасты коней/кони*, *доить коров/коровы*, существование конструкций типа *нашел гриба*).

Диалектные отличия касаются в основном неэффективной переходности (по Г. Кёллину, Ю. С. Степанову), т. е. такой переходности, при которой объект лишь участвует в действии, не подвергаясь реальному изменению, так как действие не выходит за пределы субъекта [11, с. 145].

Отмечены диалектные явления, распространенные на небольших территориях, возможно, даже соответствующих в прошлом территориям расселения небольших племен в составе кривичей и радимичей. Это же характерно и для отдельных обстоятельственных полей, которые формировались в тесной связи с полем объекта, так как, по мнению исследователей, в самом объекте присутствует понятие внешнего предела, на который переходит действие, а поэтому сам объект часто получает дополнительные значения предела в широком смысле — цели, средства и под., что способствует тому, что он постепенно становится обстоятельством или вторым сказуемым [11].

Больше всего диалектных различий отмечено при глаголе *смеяться* и глаголе *идти* (в том случае, когда за последним следует целевой объект).

Самой распространенной конструкцией с глаголом *смеяться* на описываемой территории является конструкция *смеяться каля кого-нибудь*, имеющая четко выраженный ареал и на северо-востоке Белоруссии (карта 224 ДАБМ): конструкция распространена на тех белорусских территориях, где когда-то жили кривичи и радимичи, на юго-западе Белоруссии, заселенном когда-то волянынами, а также на пограничной с Белоруссией территории Украины [9, с. 159]. В смоленских говорах, как и в части белорусских, новый предлог *каля* употребляется как в объектных (при отдельных глаголах: *смеяться*, *пошутить*, *относиться*), так и в локальных конструкциях, в которых равен по значению литературному *около*.

Очень редко (в основном в бассейне реки Сож) при глаголе *смеяться* употребляется предлог *ля*, гораздо шире распространенный на белорусской территории параллельно с *каля*. Встречается в изучаемых говорах и широко известная на территории Белоруссии, за исключением юго-запада и северо-востока, конструкция *смеяться з/с кого-то*, соответствующая литовской *suoktis iš ko nors*. В отдельных пунктах Велижского района встречается конструкция *смеяться про кого-то*, соответствующая латышской *stejos par viņu*. И, наконец, на описываемой территории представлена и типично русская конструкция *смеяться над кем-то*, известная также отдельным белорусским говорам (карта 224 ДАБМ).

В объектно-целевых конструкциях в отдельных микросистемах употребляется древний беспредложный родительный вещественного существительного (*идти воды, молока*), известный и другим западнорусским говорам и отдельным белорусским, а также гуцульским и буковинским говорам украинского языка [7, с. 23]. Беспредложный родительный в подобных конструкциях обычен для всей литовской территории и большей части латышской. На наш взгляд, это очень древние конструкции, в которых родительный восходит к партитивному генитиву (семантика партитивного генитива ощущается и в настоящее время, очевидно, поэтому беспредложный родительный возможен только от существительных со значением вещества). На описываемой территории Смоленщины есть небольшой остров в бассейне реки Сож, где известна только эта древняя балто-славянская конструкция.

Широко распространены в говорах и новые русские конструкции типа *идти за водой, за молоком, за грибами* с целевым объектом — существительным не только вещественным, но и конкретным. Эти конструкции широко распространены на большой русской территории и в той части Белоруссии, где когда-то, по предположениям ученых, жили кривичи и радимичи, а также в небольшой части украинских говоров. Параллельно с этими конструкциями в описываемых говорах употребляются конструкции типа *идти по воду, по грибы, по ягоды*, которые широко распространены на всей славянской территории, в том числе западнославянской и южнославянской, конструкция неизвестна балтийским говорам.

Кроме перечисленных, на исследуемой территории широко распространены конструкции с конкретными существительными определенной се-

мантики типа *идти в грибы, в ягоды*, известные западнорусским говорам и на востоке Белоруссии, а также на всей литовской территории, но неизвестные ни в Латвии, ни на Украине.

При анализе поля объекта обращает на себя внимание тот факт, что, кроме конструкций, объединяющих рассматриваемую территорию то с русскими, то с белорусскими говорами, выявляется целый ряд конструкций, находящихся соответствие в современных литовских и латышских говорах (конструкции *идти воды, благодарить сыну*, конструкции при компаративе типа *сильней за брата, сильней как/як брат*). Соответствия некоторым другим конструкциям находим либо только на литовской, либо только на латышской территории.

Наличие так называемых «балтизмов» закономерно на рассматриваемой территории Смоленщины, как и на территории Белоруссии. Лексические и топонимические данные свидетельствуют о том, что «балтизмы» характерны для этой территории. Здесь предполагается балтийский субстрат, причем ученые, как правило, соотносят этот субстрат с восточными днепровско-двинскими балтами. Археологи датируют древнейший контакт балтов и славян VIII—IX вв. в районе рек Сож и Двина. И в настоящее время нами отмечено «сгущение» отдельных диалектных синтаксических «балтийских» черт в бассейне р. Сож и ее притока р. Вихра. Очевидно, здесь сказалась и предполагаемая археологами поздняя славянизация балтов в бассейне р. Сож и сравнительно позднее расселение славян в радимичском ареале [12, с. 156].

Радимичи и часть смоленских кривичей, будучи неоднородными племенами, оказались в зоне балтийского субстрата, что сказалось на языке предков носителей сегодняшних диалектов. Кроме того, в союзы племен кривичей и радимичей входили, возможно, не только славянские, но и балтийские племена.

Кривичи вплотную соприкасались с латгалами и литовцами, в XI—XII вв. на территории кривичей активно проходил процесс славянизации местных балтов [12, с. 164], а так как четкого рубежа между кривичами и радимичами в XI—XII вв. не существовало, и кривичи часто смешивались с радимичами [12, с. 158], то на довольно большой территории кривичей и радимичей появилось много общих языковых черт, в силу чего границы между русскими и белорусскими говорами нечеткие.

Как отмечают археологи и историки, какое-то время между кривичами и латгалами существовали тесные контакты [12, с. 162—163]. Эта связь усилилась на рубеже X и XI вв., и именно к этому времени относится появление у латгалов и кривичей общего обряда погребения [12, с. 163]. Тесные контакты сказались и на языке: Я. Эндзелин писал о латышских заимствованиях XI—XIII вв. из языка кривичей. Возможно, к этому времени относятся и отдельные новации в поле объекта, так как связи смолян с латышскими племенами были в это время очень тесными: договором 1129 г. регулировалась обширная торговля, которую вело Смоленское княжество с Ригой.

Особенно тесные связи с древнейших времен с латышскими территориями были у Велижа, торговые связи которого с Ригой продолжались до конца XIX в. В Велижском районе долгое время проживали латыши, поэтому неудивительно, что именно в этом районе (в бассейне р. Зап. Двина) отмечается больше всего конструкций, общих с латышскими говорами (особенно латгальскими). Но спорадически такие конструкции встречаются на всей обследованной нами территории.

В Велижском районе встретила нам конструкция *смеяться про него*, имеющая соответствие в латышских говорах.

Латгало-кривичской новацией можно считать встречающуюся только параллельно с *говорить матери, отцу, сестре* и т. п. конструкцию *говорить на мать, на отца, на сестру, на его* и т. п., которая известна и части белорусских говоров. Эта конструкция полностью соответствует диалектной латышской (латгальской) конструкции *runāt uz māti* (примеры конструкций, в которых латышский предлог *uz* соответствует русскому *на*, приводит и Я. Эндзелин).

Влиянием латышского языка, в котором при творительном падеже всегда выступает предлог *ar* (= *c*), можно объяснить появление конструкций типа *мазать хлеб с/з маслом*. Особенно широко творительный с предлогами *c* и *z* распространен в Велижском районе (бассейн р. Зап. Двина).

Объектных конструкций, соответствующих только литовским, обнаружено немного. Это конструкции типа *идти в грибы* и *говорить о ребятам* (последняя встречается исключительно редко). Можно предположить, что распространение литуанизмов шло с запада, со стороны Белоруссии, в то время как латгальские особенности распространялись с северо-запада.

Конструкция типа *сильней за брата* имеет обширную территорию распространения, ее можно отнести к балто-славянским новациям широкого распространения. На значительно меньшей территории отмечается другая балто-славянская новация, конструкция типа *идти в грибы* (Литва, Белоруссия, отдельные западнорусские говоры).

Конструкция типа *идти воды* является архаической как на балтийской, так и на славянской территории.

Что касается формирования полей субъекта и предиката, то там отмечены только отдельные балтизмы, а формирование сложного предложения на рассматриваемой территории отражает только русско-белорусские особенности¹.

ЛИТЕРАТУРА

1. Борковский В. И. Использование диалектных данных по историческому синтаксису восточнославянских языков. — В кн.: Исследования по славянскому языкознанию. М., 1961.
2. Latviešu valodas dialektologijas Atlanta materialu vākšanas programma. Rīga, 1954.
3. Lietuvių kalbos atlaso medžiagos rinkimo programa. II leidimas. Vilnius, 1956.
4. Bauer J. Syntactica Slavica. Brno, 1972.
5. Общеславянский лингвистический атлас. Вступительный выпуск. Общие принципы. Справочные материалы. М., 1978.
6. Weijnen A. e. a. Atlas Linguarum Europae (ALE). Second questionnaire. Assen, 1979.
7. Матьяс І. Г. Лінгвогеографічне дослідження українського діалектного синтаксису. — Мовознавство, 1974, № 2.
8. Бевзенко С. П. Про діалектні відмінності української мови на синтаксичному рівні. — Мовознавство, 1976, № 4.
9. Бевзенко С. П. Українська діалектологія. Київ, 1980.
10. История СССР с древнейших времен до конца XVIII в. Изд. 2-е /Под ред. акад. Б. А. Рыбакова. М., 1983.
11. Степанов Ю. С. Вид, залог, переходность (Балто-славянская проблема. II). — Известия АН СССР. Серия литературы и языка, 1977, т. 36, вып. 2.
12. Седов В. В. Восточные славяне в VI—XIII вв. М., 1982.

¹ При написании статьи автор использовала как собранный ею в 1968—1982 гг. материал, так и материал, собранный в части пунктов канд. филол. наук Ровдо И. С. и канд. филол. наук Вольнец Т. Н. Были привлечены также данные, собранные для ОЛА и хранящиеся в ИРЯ АН СССР, собранные для Литовского и Латышского атласов и хранящиеся в секторе литовской диалектологии ИЛЯЛ АН ЛССР и в секторе латышского языка ИЛЯЛ им. А. Ушита АН ЛатССР. Автор приносит глубокую благодарность за предоставленную возможность ознакомиться с этими материалами.



КАЛАШНИКОВА Н.

К ВОПРОСУ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НЕКОТОРЫХ АНГЛО-АМЕРИКАНСКИХ ЦЕНТРОВ ПО ИЗУЧЕНИЮ НОВЕЙШЕЙ ИСТОРИИ РУМЫНИИ

В 70-х — начале 80-х годов значительно активизировалась деятельность англо-американских научных центров по изучению социалистических стран. К концу 70-х годов общее число таких учреждений возросло с нескольких десятков до 350, из них более 200 приходится на США [1]. Новые институты и кафедры, специализирующиеся по данной проблематике, возникают при старейших университетах и колледжах как в США, так и в Великобритании.

Так, при Гарвардском университете организован Центр по международным отношениям, где исследуются проблемы внешней политики социалистических стран. При Колумбийском университетском центре создан Институт Центральной и Восточной Европы. Быстро выдвигается в число ведущих Институт по изучению внешней политики при Пенсильванском университете, центр русских и восточноевропейских исследований Мичиганского университета, исследовательский центр под этим же названием в Стэнфорде. При Южнокалифорнийском университете в Лос-Анджелесе активно действует центр советско-азиатских исследований и Исследовательский институт по коммунистической стратегии и пропаганде.

Важным направлением в деятельности американских специалистов по современной истории социалистических стран в 70-е годы стала подготовка программ и проектов политологических разработок по заказам правительственных и монополистических организаций. Такие заказы оформляются преимущественно через кафедры политических наук при университетах в Беркли (штат Калифорния), Кливленде (штат Огайо), Сиэтле (штат Вашингтон), Блумингтоне (штат Индиана), Лоуренсе (штат Канзас), а также при Вашингтонском, Мичиганском, Нотрдамском университетах.

Исследования по проблематике славянских и балканских государств, проводимые в США, как правило, координируются с соответствующими изысканиями в других странах Запада, в частности, в Великобритании, Голландии. В этих целях в 1974 г. при университете в Глазго (Шотландия) было создано Международное информационное бюро советских и восточноевропейских исследований, в состав которого вошли 14 национальных и региональных учреждений такого типа [2].

Практически во всех указанных выше научных центрах США и Великобритании одно из заметных мест занимают исследования по изучению Румынии. О масштабах румыноведческих исследований, о подготовке специалистов по этой стране свидетельствуют перечни диссертационных работ по Румынии, публикуемые в каждом четвертом номере ежемесячного издания Американской ассоциации развития славяноведения «Slavic review». На протяжении 60-х — первой половины 80-х годов в США и Ве-

ликобритании было защищено около 100 докторских диссертаций по румынской проблематике, причем подавляющее большинство защит приходится на 70-е годы [3].

Круг интересов исследователей достаточно широк: от проблем создания румынского национального государства, идейно-политической жизни румынского общества в новое время, отношения дипломатий великих держав к «румынскому вопросу» в период борьбы за независимость и объединение румынских княжеств и до вопросов новейшей истории, таких, как создание «великорумынского» государства в 1918 г., место Румынии в системе социалистических стран, внешняя политика Румынии в период социалистического строительства, социально-классовая структура общества, демографический, национальный факторы и проч.

Румыноведение в США координируется Национальной ассоциацией по изучению Румынии, ежегодно проводятся конференции этой организации. Активно функционирует Американская академия по изучению румынской науки и культуры, организованная при Калифорнийском университете. До недавнего времени в Колумбийском университете действовала кафедра им. Н. Йорги, где готовились специалисты по румынской истории.

Активизируется подготовка научных кадров по Румынии и в других университетах и колледжах страны. Так, в университете штата Огайо в 1982 г. по румынской истории, языку, литературе специализировались 200 человек, что значительно превосходило число студентов и докторантов, занимающихся, например, испанским и итальянским языками, историей, литературой [4, p. 140].

В целом, подготовка специалистов по различным аспектам истории и политики Румынии, румынской филологии и лингвистике ведется более чем в 30 университетах и колледжах США, среди них особо выделяются Колумбийский, Индианский, Вашингтонский, Калифорнийский, Пенсильванский, Корнельский, Питтсбургский, Иллинойский, Стэндфордский и Гарвардский университеты, Бостонский колледж, а также Лондонский, Оксфордский университеты в Великобритании, Торонтский университет в Канаде, ряд частных школ и колледжей.

На Международной конференции балканистов (Белград, 1982) преподаватель Бруклинского колледжа, представитель Американского центра по изучению Восточной Европы Р. Флореску призывал к еще большей активизации и «упорядочению» подготовки кадров специалистов по Румынии в США. Несмотря на широкий масштаб этой работы в целом по стране, по заявлению оратора, «знания» по Румынии носят «спорадический, неравномерный характер, в отдельных учебниках по истории Румыния причисляется к славянским государствам» [4, p. 142].

Монографии и статьи по проблемам истории Румынии выходят в крупных специализированных издательствах США: издательство «Praeger» (теперь — «West-view press», Денвер, Колорадо) публикует сравнительно-исторические работы по странам Восточной Европы, в том числе и по Румынии; издательство Колумбийского университета выпускает серию исследований по странам Юго-Восточной Европы, руководит этой работой проф. Ст. Фишер-Галац; румынская проблематика освещается на страницах изданий других крупных университетов, например, «Indiana University press», «Washington University press» проблемы балканистики и, в частности, румыноведения отражены в таких периодических изданиях, как «East European Quarterly», «South Eastern Europe», упомянутом «Slavic review» и др.

С 1970 г. под эгидой Русского и Восточноевропейского центра [Иллинойского университета (США) в Лейдене (Нидерланды) стал издаваться международный ежегодник по исследованию состояния и перспектив развития общественных наук в Румынии «Romanian studies: an international annual of the humanities and social science», главным редактором которого является К. Хитчинс. Повышение интереса к этим вопросам на Западе К. Хитчинс объясняет все более возрастающей ролью Румынии в международных делах, вследствие чего, по его мнению, следует углублять ру-

мыноведческие исследования в США и других странах Запада, разнообразить их, стараться придать им комплексный характер [5].

Среди авторов, активно выступающих по проблемам современного развития Румынии, особенно выделяются американцы Д. Нелсон, Л. Грэхем, Т. Жилберг, П. Лендвай, Ст. Фишер-Галац, Р. Кинг, А. Браун, К. Джовитт, С. Сэмпсон, Дж. Коул, англичане Д. Турнок, С. Ньюэнс, Дж. Хейл. Перечень имен можно было бы продолжить, обратившись к данным о защитивших диссертации по румынской проблематике в самые последние годы и еще не в достаточной мере реализовавших свой научный потенциал. Последние изыскания американских специалистов отражают интерес к современным проблемам социально-политического развития СРР, вопросам ее внешней политики. Среди таких работ диссертационные исследования Э. Делигианиса о проблемах воспитания и образования в СРР, Д. Вули — «Роль аграрного фактора в развитии румынской экономики с 1950 г.», К. Вердери — «Этническая стратификация на европейской периферии. Историческая социология трансильванской деревни», А. Людани — «Венгры в Румынии и Югославии» [3, 1984, № 4].

В конце 70-х — начале 80-х годов в США появляются комплексные коллективные исследования по румынской проблематике. Последние веяния англо-американской историографии отражает изданный под редакцией видного политолога-румыноведа Д. Нелсона коллективный труд «Румыния в 80-е годы» [6], включающий более десяти статей по самым разнообразным вопросам внутренней и внешней политики СРР на этапе построения развитого социалистического общества. Более подробно на характеристике современного этапа и принятой РКП программы по построению зрелого социализма останавливается Т. Жилберг в работе «Модернизация в Румынии после второй мировой войны» [7].

Основные направления внутреннего развития СРР в 70-х — начале 80-х годов исследуются Р. Кингом в уникальном для англо-американского румыноведения издании «История Румынской Коммунистической партии» [8]. Проблемы социального, демографического развития СРР освещены в ряде работ С. Грэхема, Д. Нелсона, К. Джовитта, Д. Коула, других исследователей [9].

В последние годы в англо-американской историографии наметилась тенденция к активизации контактов американских и румынских ученых, к созданию совместных научных исследований ученых двух стран. Постоянны встречи, симпозиумы, конференции историков США и СРР, институциональные официально в 1969 г. В выступлениях и работах американских историков отмечается, в частности, что контакты с румынскими учеными «оказывают стимулирующее воздействие на успехи американского румыноведения, что обусловлено успешным развитием исторической науки в СРР». Признается и такой факт, что работы ученых США оказывают определенное воздействие на румынскую историографию [10]. Румынские ученые привлекаются к работе в ведущих научных центрах, например, Институте Восточной и Центральной Европы Колумбийского университета, университетах в Санта-Барбаре, Лос-Анджелесе, Сиэтле, Бостоне и др. С 1969 г. Румыния отправляет студентов на стажировку в США, с 1971 г. — в Великобританию.

Показателем расширения сотрудничества румынских и западных ученых может служить участвовавшая публикация в американских научных изданиях работ румынских авторов [11].

В последние годы на страницах американских исторических изданий неоднократно заявлялось об определенном параллелизме исследований в СРР и США, что находит выражение в выработке тем исследований, создании коллективных сборников статей, постановке ряда вопросов и трактовке событий средневековой и новой истории и проч. Итогом такого сотрудничества являющиеся ежегодные американо-румынские научные конференции в рамках Американского общества по изучению Румынии [12].

Можно сказать, что англо-американское румыноведение, как показывает практика, существенно активизировалось в последние годы.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Долнин А. А.* Антисоветские идеологические центры.— *Международная жизнь*, 1979, № 9, с. 50.
2. *Николаев П. А.* Зловещий альянс: советология на службе психологической войны. Л., 1980, с. 33; *Slavic review*, 1976, № 4, p. 146.
3. *Slavic review*, 1964—.
4. Conference international des balcanologues. Belgrade, 7—8 sept. 1982. Belgrade, 1984.
5. *Romanian studies: an international annual of the humanities and national science.* 1970, p. 82.
6. *Romania in the 1980-s.* Ed. by D. Nelson, New York, 1982.
7. *Gilberg T.* Modernization in Romania since World War II. New York, 1975.
8. *King R.* History of the Romanian Communist party. Standford, 1980.
9. *Graham L.* Romania: a developing socialist state. Colorado, 1982; *Nelson D.* Democratic centralism in Romania: a study of local communist policy. New York, 1980; *Jowitt K.* Revolutionary breakthroughs and social development: the case of Romania. 1944—1965. New York, 1978.
10. *Tokés R.* Comparative communism: the elusive target.— *Studies of comparative communism.* 1975, v. 8, № 3, p. 211—229; *Revista de istorie*, 1984, № 6, p. 596.
11. *Ghibăţiu A.* The significance of the relations between the United States and Romania in the context of the present international relations.— In: *Changes in European relations.* Leiden, 1976, p. 143—155; *Ceterchi I.* Sovereignty and cooperation of the states.— In: *Between sovereignty and integration.* Toronto, 1973, p. 135—138; *Cernea M.* Cooperative farming and family change in Romania.— In: *The social structure of Eastern Europe.* Washington, 1976.
12. *Revista de istorie*, 1984, № 6, p. 586.



ВЕНЕДИКТОВ Г. К.

Ю. ВЕНЕЛИН И А. ПУШКИН

Волею обстоятельств в 1823 г. в Кишиневе в одно и то же время в течение примерно трех месяцев жили высланный из Петербурга поэт А. Пушкин и прибывший из Венгрии Ю. Венелин, «русский по рождению, карпато-росс», который «всегда стремился в Россию и пламенно желал поселиться посреди свободного народа, к которому принадлежал сам и которого историю преимущественно занимался» [1, с. 450]; это же и в [2, с. IХ]. Для Пушкина это были последние месяцы его жизни в Кишиневе, для Венелина — первые, которыми началась его жизнь и деятельность в России. Неизвестно, состоялось ли их знакомство в этом городе (об этом см. ниже), но их пребывание здесь имело общий для обоих импульс в творческой деятельности — поэтической для одного и научной для другого. Таким импульсом было для них знакомство с проживавшими в Кишиневе болгарскими и вызванный общением с ними интерес к судьбе этого многострадального народа. Болгарские мотивы звучат в некоторых сочинениях Пушкина [3, с. 275—276; 4, с. 126—131; 5, с. 163]. Для Венелина же болгарская тематика стала основной в научной деятельности как историка и филолога. В 1823 г. ни поэт, ни будущий ученый, естественно, не могли и думать, что спустя совсем немного времени болгаристические исследования Венелина приведут их к личным встречам в Москве и Петербурге, что через 10 лет московский историк М. П. Погодин обратится именно к Пушкину с горячей просьбой о поддержке Венелина и его болгаристических трудов. Отношениям Венелина и Пушкина и посвящена настоящая статья.

Этот вопрос кратко рассматривался в литературе и раньше. Так, существует мнение, что Пушкин не был в стороне от славистических исследований Венелина и оказывал ему свое содействие. Ф. Я. Прийма, например, полагает, что «Пушкин не только был знаком с первым в России исследователем болгарского языка и фольклора Юрием Венелиным, но и способствовал в меру своих сил и возможностей научным занятиям последнего» [6, с. 105]. Такого же мнения придерживается и Д. И. Белкин, который утверждает, что «Пушкин постоянно оказывался в курсе славяноведческих работ Ю. Венелина и, что не менее важно, не оставался равнодушным ни к трудам, ни к судьбе исследователя» [7, с. 70]. М. Цявловский называет Венелина в числе тех, кто дал «весьма любопытные отзывы... о Пушкине как поэте», а сами эти отзывы — «выражение непосредственных впечатлений от чтения произведений Пушкина» — рассматривает как «ценнейший материал для характеристики восприятия Пушкина первыми его читателями» [8, с. 679]. Относительно характера личных отношений между Венелиным и Пушкиным мнения исследователей расходятся. М. Цявловский относит Венелина к тем лицам, «знавшим Пушкина», кто «к событиям личной его жизни» относился «с не меньшим интересом», чем к его поэзии [8, с. 680]. Другие исследователи называют Венелина и Пушкина просто знакомыми [9, с. 196] или же отмечают лишь сам факт их знакомства и встречи, в частности, в доме М. П. Погодина [10, с. 909—910].

Иначе оценивает характер их знакомства Д. И. Белкин. «Очень возможно, — пишет он, — что Пушкин был близок... и с автором книги о прошлом и настоящем болгарского народа Ю. Венелиным. Их знакомство, а может быть и дружба, могло начаться еще в Кишиневе» [7, с. 68—69]. На чем же основываются приведенные утверждения, касающиеся отношений Пушкина и одного из первых отечественных славяноведов — Венелина?

Рассмотрим доказательства, приводимые в подтверждение заинтересованности Пушкина научными трудами Венелина и участия его в судьбе ученого.

По мнению Ф. Я. Приймы, «ясное представление об этом дает адресованное С. П. Шевыреву и датированное 29 апреля 1830 г. письмо группы русских литераторов и ученых, среди которых находим мы и имя Пушкина... Письмо это, в котором излагался подробный план научной поездки Венелина в Болгарию, ставило своей целью содействовать успехам русской славистической науки» [6, с. 105]. Здесь имеется в виду письмо к находившемуся в Италии С. П. Шевыреву, написанное Погодиным и дополненное приписками собравшихся у него на новоселье 29 апреля 1830 г. Венелина, Пушкина, С. Т. Аксакова и других гостей. Венелин оставил в нем две приписки — вторую и четвертую в порядке следования всех приписок. Ссылка Ф. Я. Приймы на это письмо, которое якобы дает «ясное представление» о содействии Пушкина научным исследованиям Венелина, в данном случае совершенно бездоказательна. В своей приписке (четырнадцатой в общем порядке приписок) Пушкин пишет (цит. по т. XIV «Полного собрания сочинений» поэта, на который ссылается и Ф. Я. Прийма): «Примите и мой сердечный привет, любезный Степан Петрович; мы, жители прозаической Москвы, осмеливаемся писать к Вам в поэтический Рим, надеясь на дружбу вашу. Возвратитесь обогащенные воспоминаниями, новым знанием, вдохновениями, возвратитесь и оживите нашу дремлющую северную литературу» [11, т. XIV, с. 85]; (в цитируемой выше статье Ф. Я. Приймы дана ссылка на с. 84). В литературе уже отмечалось, что данная приписка Пушкина не может служить подтверждением высказанного Ф. Я. Приймой положения. Т. Байцура с полным основанием указала, что «поскольку в своей приписке Пушкин ни единым словом не обмолвился о Венелине и даже не упомянул его имени, она не дает не только „ясного представления“, но и вообще никакого представления о сочувствии или помощи поэта ученому» [12, с. 36]. Обе приписки Венелина, в одной из которых (первой) он сообщает Шевыреву о своей поездке в Болгарию, предшествуют приписке Пушкина. На этом основании, отмечает Т. Байцура, можно заключить, что «Пушкин мог быть в курсе научных планов Венелина и знал о его предстоящем путешествии по Болгарии, Валахии и Македонии, но ничего более» [12, с. 36]. На наш взгляд, о путешествии Венелина Пушкин вряд ли узнал из его приписки (для этого ему пришлось бы ее прочитать, а от пушкинской ее отделяют приписки десяти других гостей Погодина). Скорее Пушкин мог узнать о предстоявшем отъезде Венелина из состоявшейся на новоселье у Погодина общей беседы. Трудно допустить, чтобы гости Погодина, вспоминая путешествовавшего Шевырева и решив написать ему письмо в Рим, не затронули в беседе и вопрос о путешествии Венелина, тем более, что тот покидал Москву через день.

Из сказанного видно, что коллективное письмо к Шевыреву не содержит никаких данных, которые хотя бы косвенно свидетельствовали о содействии Пушкина «в меру его сил и возможностей» исследованиям Венелина. Нельзя поэтому не согласиться с заключением Т. Байцуры о том, что рассматриваемое здесь утверждение Ф. Я. Приймы ничем не мотивировано [12, с. 35].

Отметим далее, что, вопреки мнению Ф. Я. Приймы, ни в письме Погодина, ни в приписках Венелина и других гостей нет изложения «подробного плана научной поездки Венелина в Болгарию». Об этой поездке сам Венелин писал лишь следующее: «Послезавтра еду и я в страну классическую, классическую для Руси, Литвы и Венгрии — в Болгарию, отчествов Бояна, славянского Оссиана, отчество священного нам языка и т. д.

Еду на счет Российской Академии. Цель великая, позволили бы только местные обстоятельства» [11, т. XIV, с. 84]. При всем желании в этих строках невозможно усмотреть изложения не только подробного, но и вообще какого-либо плана путешествия Венелина. Правда, Венелин далее перечисляет ряд задач, которыми следует заняться путешествующему исследователю, а именно описать «пространство жилищ», «оттенки наречия», «правы, обыкновения, костюмы», «домоводство», собрать издания на местном славянском языке, а также посетить русский униатский монастырь в Риме, в Ватиканской библиотеке — осмотреть славянские рукописи и изучить их содержание. Но задачи эти он ставит здесь не себе на время своего путешествия в Болгарию, а Шевыреву, которому советовал посетить «славянских жителей», «наших соплеменников», живших на землях Италии и Австрии, отметив, что все это для шестого тома его исследования о болгарях «будет весьма нужно» [11, т. XIV, с. 84]. Следовательно, эти задачи никак не могут составлять «подробный план научной поездки Венелина в Болгарию». К этой поездке они имеют разве лишь то отношение, что, перечисляя их Шевыреву, Венелин не мог не иметь в виду и программу своего путешествия.

Иные аргументы в подтверждение мнения о постоянном внимании Пушкина к славяноведческим трудам Венелина и о его участии в судьбе ученого приводит Д. И. Белкин. Он указывает на два факта: публикацию в № 6 «Литературной газеты» от 26 января 1830 г. рецензии синолога И. Бичурина на т. I «Древних и нынешних болгар» Венелина и письмо Погодина к Пушкину от 12 апреля 1833 г. [7, с. 70]. Факты эти, конечно, подтверждают мысль о том, что Пушкин действительно был в курсе ученых занятий Венелина, но они, на наш взгляд, не могут свидетельствовать о постоянном внимании поэта к славяноведческим трудам и судьбе самого ученого. Единственное, в чем Пушкин, надо полагать, сам проявил свое отношение к Венелину, — это публикация упомянутой выше рецензии И. Бичурина в «Литературной газете». Поместив ее в газете, Пушкин показал тем самым, что древнейшая история болгар его тоже интересует. Во всех других, называемых исследователями случаях, активность позиции Пушкина в отношении самого Венелина и его трудов ни прямыми документальными, ни косвенными данными не подтверждается.

Начнем с известного письма Погодина к Пушкину от 12 апреля 1833 г., которому Д. И. Белкин в оценке отношений поэта и Венелина придает большое значение. В начале этого письма Погодин пишет, что «г. Венелин (автор книги Древние и нынешние болгаре) был послан от Академии Рос/сийской/ в Болгарию для исследований истор/ических/ и филологических» [13, с. 59]. Отметив трудности, с которыми тот столкнулся во время путешествия, Погодин далее пишет о проделанной Венелиным работе над собранными материалами по возвращении в Москву: уже отправил в Российскую академию подготовленный им «фолиант объяснений на болгарские грамоты с 14 до 18 века... вместе с снимками, собственноручно им сделанными», «через месяц он представит в Академию всю болгарскую грамматику, которой одной недоставало в литературе славянских наречий», «потом ему останутся объяснить песни, им собранные, и приготовить к изданию» [13, с. 60]. Погодин сообщает также о бесплодных попытках Венелина добиться материальной поддержки от Российской академии¹, командировавшей его в Болгарию и требовавшей от него скорейшей обработки и доставления собранных материалов. За посланные в Академию болгарские грамоты XIV—XVIII вв., — пишет он, — Венелина «теперь следовало бы представить к чину или к маленькому крестнику, который ему нужен по разным обстоятельствам». Он советует Пушкину спросить копии с этих грамот «в собрании» (т. е. в Академии), взглянуть на них, чтобы «восчувствовать величину труда», положенного на них Венелиным. И далее Погодин пишет: «Потребуйте от академии, чтоб она назначила г. Венелину содержание, пока он трудится для академии, начиная с ноября 1831 года, с коего времени он живет в долг» [13, с. 59—60]. А в конце письма,

¹ К просьбам об этом Венелина побуждал и сам Погодин [14, с. 36—37].

подчеркнув, что все изложенное в письме — «правда, и без фигур», что он все это свидетельствует «своим славянским словом и честью», Погодин призывает Пушкина: «Похлопочите во имя божие, для пользы общей. Хлеба г. Венелину на два года, награду высочайшую» [13, с. 60].

Письмо Погодина, таким образом, действительно вводило Пушкина в круг научных занятий Венелина, непосредственно связанных с его ученым путешествием в Болгарию, и благодаря этому (но не только этому, как увидим ниже) весной 1833 г. Пушкин был в курсе того, над чем трудился Венелин. Но следует ли из данного письма, что, как полагает Д. И. Белкин, Пушкин «не оставался равнодушным ни к трудам, ни к судьбе исследователя?». На наш взгляд, само это письмо для такого заключения не дает никаких оснований. Целью рассматриваемого здесь письма Погодина, как видим, было побудить Пушкина к тому, чтобы он похлопотал в Российской академии о вознаграждении его трудов Венелина. Обращение Погодина к поэту с такой просьбой легко объяснимо, ибо за три месяца до этого (7 января 1833 г.) Пушкин был избран членом Российской академии. Погодин в данном случае, как нам кажется, и рассчитывал на помощь Пушкина прежде всего как члена Академии, а не знаменитого поэта. А чтобы ввести его в курс дела, он кратко рассказал ему в письме о научных занятиях Венелина, выполненных и выполняемых по поручению Академии, и о ее отношении к нему, специально обратив внимание на то, что П. И. Соколов, непреременный секретарь Академии, «не жалуется г. Венелина по особенным причинам» [13, с. 60].

Содержание письма и просьба Погодина для Пушкина не могли быть совсем неожиданными. 4 февраля 1833 г., т. е. примерно за два с половиной месяца до получения этого письма, Пушкин присутствовал на заседании Российской академии [15, с. 82—83]². На этом заседании было зачитано письмо Венелина к ее президенту А. С. Шишкову от 20 января того же года, одновременно с которым в Академию Венелиным были направлены подготовленные им к изданию влахо-болгарские грамоты и копии с них. В этом же письме, как записано в протоколе заседания, Венелин «повторяет просьбу свою о назначении ему от Академии на время занятий его по сему предмету жалованья» [16, оп. 1, ед. хр. 38, л. 14]³. На этом же заседании акад. А. Х. Востоков, по предложению президента, «принял на себя труд сделанные г. Венелиным списки с древних Влахо-болгарских грамот сверить со снимками с подлинников оных же грамот, писанных старинными буквами и правописанием» [16, оп. 1, ед. хр. 38, л. 14]. Что касается просьбы Венелина о назначении ему жалованья или пособия, вопрос этот на данном заседании, видимо, не обсуждался, поскольку в протоколе заседания по нему никакого решения не зафиксировано⁴. Пушкин, присутствовавший на этом заседании, следовательно, уже тогда (если, ко-

² М. И. Сухомлинов отмечает, что в звании действительного члена Пушкин впервые посетил Российскую академию 28 января 1833 г., а затем присутствовал на ее собраниях (заседаниях) 4 и 25 февраля, 11 и 18 марта и 10 июня того же года [15, с. 82—83]. Подпись Пушкина есть в протоколах заседаний Академии от 28 января, 25 февраля, 11 и 18 марта. В протоколах других, указанных Сухомлиновым, заседаний подписи Пушкина нет, но он значится в списке присутствовавших [16, оп. 1, ед. хр. 38, л. 11, 13, 19, 25, 29, 55]. Кроме названных, Пушкин присутствовал также на заседаниях Академии 13 мая 1833 г. [16, оп. 1, ед. хр. 38, л. 43], где есть и его подпись, и 8 декабря 1834 г. (в протоколе № 44 этого заседания в списке присутствовавших его фамилия значится, но подписи нет).

³ С просьбой о назначении ему жалованья Венелин обратился в Российскую академию, вероятно, вскоре же по возвращении из путешествия (возможно, уже в письме от 25 декабря 1831 г. на имя П. И. Соколова). В письме к Соколову от 2 апреля 1832 г. Венелин с такой просьбой обращался уже не впервые. Это следует из ответного письма Соколова от 18 мая 1832 г., из которого видно, что в конце письма от 2 апреля Венелин повторяет просьбу свою о назначении ему «ежемесячного пособия для приведения в порядок собранных во время путешествия материалов» [17, л. 2].

⁴ Письмом от 23 марта 1833 г. Соколов известил Венелина о данном Академией поручении Востокову, а относительно просьбы Венелина о назначении ему жалованья сообщал, что «по сему предмету ни г. Президент, ни присутствовавшие тогда (т. е. на заседании 4 февраля 1833 г. — Г. В.) гг. члены никакого не сделали решения, вероятно потому, что Академия не имеет права никому, сверх штата своего, назначать жалованья» [17, л. 6—6 об.].

нечно, он присутствовал на всем заседании или на той его части, когда зачитывалось письмо Венелина) узнал о присланных Венелиным в Академию влахо-болгарских грамотах и о его просьбе, как и то, что просьбу эту Академия оставила без внимания и без благоприятных для Венелина последствий.

Обратимся теперь вновь к письму Погодина к Пушкину от 12 апреля 1833 г. Очевидно, что оно было написано после того, как Венелин получил цитируемое выше письмо Соколова к нему от 23 марта и ознакомил с ним Погодина. Отказ Академии в просьбе Венелина заставил Погодина взяться за перо и написать Пушкину столь эмоциональное письмо о научных трудах и заслугах Венелина, о его житейских тяготах и обратиться к поэту за содействием в делах ученого-славяноведа.

Чем же ответил Пушкин на это письмо? Какие шаги предпринял он в ответ на просьбу Погодина, настоятельность которой подчеркнута уже первыми, обращенными к нему словами письма: «Прочеть все»? Ответ на эти вопросы прост — неизвестно. Документов и других свидетельств, которые бы подтвердили, что Пушкин не оставил без внимания просьбу Погодина, в руках исследователей нет. В частности нет таких подтверждений и среди архивных материалов Российской академии — факт, который скорее всего следует истолковать таким образом, что Пушкин просьбы Погодина не исполнил и по поводу дел Венелина в Академию не обращался (во всяком случае — официально). Нельзя, конечно, полностью исключать того, что Пушкин мог об этом говорить в Академии и в неофициальном порядке, но, убедившись, что Академия и к его просьбе об оказании материальной поддержки Венелину отнесется отрицательно, отказался от дальнейших шагов. Но это лишь предположение, не более. Исследователям неизвестно и ответное письмо Пушкина на письмо Погодина от 12 апреля 1833 г., по которому можно было бы судить о его отношении к просьбе Погодина и о его намерениях или уже предпринятых шагах в связи с нею. Да и было ли вообще ответное письмо, тоже неизвестно.

С просьбой о поддержке Венелина Погодин обращался и к А. Х. Востокову. 6 апреля 1833 г., за шесть дней до письма к Пушкину, Погодин написал ему письмо (возможно, еще до ознакомления с письмом Соколова к Венелину от 23 марта того же года), в котором просил его обратить внимание на посланные Венелиным в Академию влахо-болгарские грамоты и предпринять меры, чтобы это сочинение «не опустилось в подземелье Академическое» [18, с. 306]. Не исключено, что Пушкин мог знать об этом письме и поэтому воздержался от каких-либо шагов навстречу просьбе Погодина. Вторично с той же просьбой, но выраженной более настойчиво, Погодин обратился к Востокову осенью 1833 г. Уже зная, что Академия поручила ему «рассмотрение сочинения» Венелина о влахо-болгарских грамотах, Погодин в письме от 28 сентября 1833 г. просит его «во имя науки и славянского языка, сугубо вам родного», принять это сочинение «под свое покровительство и содействовать к вознаграждению вещественному и невещественному сего человека, который, жертвуя своею жизнью, трудился для Академии, среди холеры, чумы и варваров, и который два года теперь занимается обработанием материалов, не получая ни копейки на свое содержание» [18, с. 310]⁵. Предпринял ли и Востоков в ответ на просьбу Погодина какие-либо шаги к тому, чтобы Академия предоставила Венелину вознаграждение за его труды, мы не знаем. Что же касается по-

⁵ Отметим в этой связи существенную неточность, допущенную Н. П. Барсуковым при изложении содержания и цитации письма Погодина к Востокову от 28 сентября 1833 г. Согласно Барсукову, Погодин, узнав, что «Академия предоставила Востокову рассмотрение его (Венелина. — Г. В.) Грамматики нынешнего болгарского языка», обратился к нему с просьбой «принять оную под свое покровительство» [19, с. 167]. В действительности же в письме Погодина ясно сказано, что его просьба касается «оного» сочинения Венелина, которое уже находилось в Академии, т. е. «Влахо-болгарских грамот», а не «Грамматики нынешнего болгарского наречия». О «Грамматике» в этом же письме Погодин сообщал, что она «уже готова» и что Венелину «остаётся переписать только листов пять, и он немедленно доставит ее» [18, с. 310]. К сожалению, искаженная Барсуковым версия письма Погодина повторяется и в позднейших работах некоторых исследователей см., например, [20, с. 107; 21, с. 28].

ручения Академии, то Востоков его выполнил через полтора года, к середине 1835 г. На заседании Академии от 31 августа 1835 г., как явствует из протокола этого заседания, Востоков «донес, что он исполнил сие поручение и мнением полагает, что книгу сию („Влахо-болгарские грамоты“.— Г. В.) весьма полезно напечатать и что он принимает на себя присмотр за изданием грамот, к коим приложил и некоторые замечания свои, по одобрении оных Академиею» [16, оп. 1, ед. хр. 40, л. 111]. Еще раньше, 18 мая 1835 г., Востоков внес в Академию предложение «о приобретении академической типографией недостающих литер и титл и надстрочных знаков, необходимых для печатания влахо-болгарских грамот Венелина», и о своем согласии «на присмотр его над печатанием этих грамот» [16, оп. 3, т. II — 1836, ед. хр. 36, л. 217].

Итак, мнение о том, что Пушкин «способствовал в меру своих сил и возможностей научным занятиям», что он «не оставался равнодушным ни к трудам, ни к судьбе» Венелина, пока не основано на документальных данных и свидетельствах, а приводимая в подтверждение такого мнения аргументация совершенно несостоятельна. Мнение это порождено, очевидно, желанием авторов, его высказывающих, поставить в заслугу Пушкину и его заинтересованность в судьбе и трудах одного из первых русских славяноведов. Величие гениального поэта не нуждается в том, чтобы ему приписывались и те заслуги, которые по крайней мере еще не доказаны. Огромный вклад Пушкина в русскую литературу и культуру не станет меньше, если признать, что поэт не проявил того внимания и к самому Венелину и к его научным занятиям, о котором пишут авторы некоторых работ.

Посмотрим теперь, как относился Венелин к Пушкину и его творчеству.

В начале настоящей статьи сказано, что Цявловский называет Венелина среди многих современников поэта, оставивших о нем «весьма любопытные отзывы». Такие отзывы Венелина содержатся в нескольких его письмах к Погодину, относящихся к 1830—1831 гг. Л. А. Черейский отмечает, что в письмах к Погодину из Петербурга Венелин сообщал «о встречах с Пушкиным и скептически отзывался о нем как о писателе» [22, с. 63]. Из кратких замечаний Венелина, содержащихся в двух его письмах, можно заключить, что он действительно скептически относился к творчеству Пушкина, хотя, как это видно из другого его письма, и отдавал должное некоторым крупным его произведениям. Так, из письма от 12 февраля 1830 г. из Петербурга как будто следует, что Венелин весьма иронически отнесся к литературно-критическим статьям Пушкина, опубликованным в январских номерах «Литературной газеты». Сообщив Погодину, что заболевшие было «зубы у Гриши (младшего брата Погодина, жившего в Петербурге.— Г. В.) прошли», Венелин как бы с удивлением далее пишет: «Знаете ли, у Пушкина вырос Литературный зуб на 30 и 35-ом от рождения. Кусается. Почему же вы об этом явлении не известили общество Московских Натуралистов» [8, с. 706]. При всей непринужденности и дружелюбности тона письма в приведенных словах нельзя не почувствовать насмешливого отношения Венелина к его статьям в «Литературной газете» [8, с. 706], а может быть и вообще к изданию Пушкиным этой газеты.

Скептическое, если не вообще отрицательное, отношение Венелина к творчеству Пушкина еще более отчетливо выражено в его письме из Петербурга от 14 февраля 1830 г., в котором он сообщает Погодину о встрече с Пушкиным у известного книгопродавца И. В. Сленина: «У Сленина два раза спотыкнулся с Пушкиным. Кажется, что из него в век ничего не будет, кроме юмористического Стихотворца» [8, с. 707]⁶. Видеть в Пушкине толь-

⁶ Н. П. Барсуков цитирует этот фрагмент письма со значительными отступлениями: «У Сленина столкнулся с Пушкиным; кажется, что из него в век ничего не будет, кроме исторического стихотворца» [19, с. 122]. К сожалению, и этот искаженный Барсуковым фрагмент письма Венелина, представляющий отношение автора письма к Пушкину и его творчеству в существенно иной тональности, встречается в работах, изданных после известной публикации М. Цявловского, где текст письма передан правильно (см., например, [23, с. 113]). Небрежность, с какой Барсуков обращался при использовании

ко поэта-юмориста — свидетельство очевидного непонимания Венелиным глубины и значения творчества гениального поэта. Однако из другого его письма, написанного почти через год, видно, что он был положительного мнения о «Евгении Онегине» и «Борисе Годунове». В ответ на сообщение Погодина о завершении Пушкиным девятой главы «Евгения Онегина» (впоследствии восьмой [8, с. 710]) Венелин в письме от 5 января 1831 г. из Бухареста пишет Погодину: «Я рад, что у Пушкина наконец появилась девятая Голова; а 9 голов в нынешней Романистике не шутка. Еще в Одессе узнал я из твоего письма, что он сделался двухглавым (имеется в виду женитьба Пушкина на Н. Н. Гончаровой. — Г. В.); чай скоро у него появится и третья глава; дай ему Лада сей дар; иначе почту его за худого Поэта. Шутки в сторону: слава ему и за Годунова» [8, с. 710].

Из других имеющихся замечаний Венелина тоже нельзя заключить об особой серьезности его отношений к Пушкину, но эти замечания несомненно свидетельствуют о том, что и вдаль от Москвы, отправившись в путешествие в Болгарию, он продолжал интересоваться новостями о жизни поэта. Так, в письме из Одессы от 16 июня 1830 г. он спрашивает Погодина: «Что Шевырев? Что Пушкин? Я как в Арабистане ничего не знаю, не слышу» [8, с. 708]. Через несколько месяцев, в письме из Бухареста от 2 ноября 1830 г., он вновь интересуется: «Что Степан Петрович (Шевырев. — Г. В.)? Что Рожалин? Что Пушкин, Хомяков, Языков? Если ничего, то скажи им, пусть стыдятся есть хлеб Русский понапрасну, только скажи от себя, а не от меня, им так мало известного» [8, с. 708]. В шутильном и как будто даже ироническом тоне откликнулся Венелин на несколько удивившую его весть, сообщенную Погодиным, о якобы состоявшейся помолвке Пушкина с Н. Н. Гончаровой. В письме Погодину от 28 мая 1830 г. еще из Одессы он пишет: «Я думал, что певец присягнул навечную своей Музе; а молодец вишь вот как! Дай Бог ему! Жаль что не могу сделать лично моего поздравления его прелестной невесте (говорю прелестной, не выдав ее, ибо всякая невеста сама по себе прелестна). Впрочем куда сунуться к знаменитой Поэтше смиренному и плохому прозаисту» [8, с. 707]. Об этой же вести Венелин отзывается и позже, в уже цитированном выше письме к Погодину от 5 января 1831 г. из Бухареста.

Какие-либо другие отклики Венелина на творчество Пушкина или события его личной жизни пока не известны⁷. Приведенные же здесь отрывки из писем к Погодину, подтверждающие давно известный факт личного знакомства Венелина и Пушкина, не содержат никаких данных, которые бы позволяли охарактеризовать отношения между ними как дружеские. Более того, складывается впечатление, что Венелин и Пушкин вообще были мало знакомы, при этом Венелин, как нам кажется, знал о Пушкине и интересовался им больше, чем Пушкин Венелиным. Не случайно, надо полагать, в письмах Пушкина имя Венелина не упоминается, а сам Венелин, как это видно из приведенного выше фрагмента его письма от 2 ноября 1830 г., представляет себя «так мало известным» Пушкину и другим общим (своим и Погодина) знакомым. Об этом же, как нам кажется, свидетельствует и рассмотренное выше письмо Погодина к Пушкину от 12 апреля 1833 г. Очевидно, что, если бы Пушкин был хорошо знаком с Венелиным, Погодин вряд ли стал бы ему представлять Венелина как «автора книги Древние и нынешние болгары», которого Российская академия командировала в Болгарию для исторических и филологических исследований.

писем и других источников, отмечалась неоднократно. В частности, Цявловский справедливо указывал, что «особенности воспроизведения опубликованных Барсуковым документов не позволяют пользоваться приводимыми им текстами для научных целей» [8, с. 679].

⁷ К приведенным откликам можно добавить еще следующее известное нам упоминание Венелиным имени поэта. В ответ на вопрос В. Априлова и Н. Палаузова (известных деятелей болгарского национально-культурного возрождения, живших в Одессе) о том, когда выйдет в свет второй том его «Историко-критических исследований о болгарях», Венелин в письме от 27 сентября 1837 г. писал: «Так как подобного рода сочинения не поэмы Пушкина, т. е. не могут принести такого барыша, то их издавать значит выбросить в окошко 800 или 1000 рублей» [24, с. 180]. В черновом автографе этого письма вместо «такого барыша» читаем «никакого барыша» [25, л. 18 об.], что более соответствует смыслу приведенной фразы.

Остается рассмотреть вопрос о том, когда и где Венелин и Пушкин познакомились. Сведений, которые бы давали точный ответ на этот вопрос, нет. Существует, однако, как уже сказано в начале статьи, мнение, что «знакомство, а может быть и дружба» между ними могла начаться еще в Кишиневе, т. е. в 1823 г. Венелин приехал в Кишинев в последних числах апреля, если даже не в начале мая. Это видно из статьи Н. Савельева, который, опираясь, видимо, на сведения, полученные от самого Венелина или от И. И. Молнара (двоюродного брата Венелина, вместе с которым тот из Венгрии приехал в Кишинев), писал: «... В начале весны 1823 г. Венелин отправился сухим путем через Карпатские горы сперва в Черновиц, а потом через границу в Хотин, куда прибыл накануне праздника светлого Воскресения Христова. Из Хотина, спустя несколько дней, он поехал в Кишинев» [1, с. 450]; (см. это же у самого Молнара [2, с. IX—X] и у В. Априлова [26, с. 124]). Пасха в 1823 г. приходилась на 22 апреля. Следовательно, из Хотина Венелин отправился в Кишинев «спустя несколько дней» после 22 апреля⁸. Повторенные Молнаром сведения Савельева — пока единственный источник, которому приходится вполне доверять, поскольку Молнар был попутчиком Венелина. Слова об отъезде Венелина из Хотина «спустя несколько дней» после Пасхи для точной датировки приезда Венелина в Кишинев недостаточны, тем более, что ни Савельев, ни Молнар не указывают время, затраченное на переезд (или переход) из Хотина в главный город Бессарабии. Очевидно, на это ушло по крайней мере несколько дней⁹. Но из этих слов совершенно определенно следует, что первая встреча Венелина с Пушкиным не могла произойти ранее самого конца апреля — начала мая 1823 г. Пушкин же, живший в Кишиневе с сентября 1820 г., покинул этот город и уехал в Одессу в первых числах августа (не позднее 10 августа) [5, с. 298]. Следовательно, Венелин и Пушкин жили одновременно в Кишиневе примерно в течение трех месяцев — с конца апреля (начала мая) — до начала августа, и первая их встреча могла состояться именно в эти месяцы. Нужно, однако, иметь в виду, что с разрешения И. Н. Инзова Пушкин в начале июля 1823 г. уехал для лечения морскими ваннами в Одессу, откуда вернулся в Кишинев в конце того же месяца [5, с. 297]¹⁰. Время, когда в Кишиневе Венелин и Пушкин могли встретиться и познакомиться, таким образом, сужается примерно до двух месяцев. Срок вполне достаточный, чтобы в небольшом городе далекой российской провинции со сравнительно ограниченным кругом образованных людей два молодых человека почти одного возраста (Венелин был на три года моложе Пушкина) могли не только познакомиться, но и, как полагает Д. И. Белкин, даже подружиться. Первая их встреча могла состояться и позднее — в марте 1824 г., когда Пушкин на короткое время приезжал в Кишинев из Одессы [5, с. 300]. Знакомству Венелина с Пушкиным в Кишиневе могло благоприятствовать, в частности, то обстоятельство, что оба они были в орбите внимания И. Н. Инзова, первого официального лица в этом городе, наместника Бессарабской области (до

⁸ В литературе встречаются неточные утверждения о времени приезда Венелина в Кишинев. Так, В. Перетц пишет, что весной 1823 г. Венелин вместе с Молнаром направляется «через Черновцы в пределы России и накануне светлого Христова Воскресения прибывает в Хотин и в Кишинев...» [27, с. 233]. Согласно Перетцу, получается, что накануне пасхи Венелин был и в Хотине и в Кишиневе.

⁹ О том, как Венелин и Молнар добирались из Хотина до Кишинева, документальных данных нет. П. А. Бессонов писал об этом скорее всего с приведенных выше слов Савельева: «Неволью повинаясь призыванию судьбы, в 1823 г. двинулся Венелин, через родные вершины Карпат, на Черновцы, и, спустя несколько дней, странника принял и радушно обласкал у себя генерал-губернатор И. Н. Инзов» (см. его предисловие к кн. [28, с. VI]). В некоторых статьях последних лет отмечается (без каких-либо ссылок на источники), что Венелин добрался до Кишинева пешком [29, с. 120] или что Венелин и Молнар добрался до этого города «то на попутных каруцах, то пешком» [30, с. 142].

¹⁰ Предположение, основанное на дневниковых записях и воспоминаниях И. П. Липранди [31, стлб. 1479], о том, что Пушкин с той же целью был в Одессе и раньше, с конца апреля до конца мая 1823 г., маловероятно, ибо трудно допустить, чтобы Инзов дважды, с промежутком в месяц — полтора, разрешил Пушкину уезжать из Кишинева в Одессу для морских купаний. К тому же в середине мая Пушкин определенно находился в Кишиневе, как это видно из его письма к Н. И. Гнедичу от 13 мая 1823 г. [41, т. XIII, с. 62—63].

конца июля 1823 г. [5, с. 60]). Инзов, благосклонно относившийся к поэту и оказавший свое «покровительство юному страннику» — Венелину [1, с. 450; 2, с. X], мог даже прямо или косвенно содействовать их знакомству.

Но все это — одни лишь предположения. Никаких документальных подтверждений тому, что Венелин и Пушкин впервые встретились, познакомились и, может быть, даже подружились в Кишиневе в 1823 г. (или в марте 1824 г.) нет. Поэтому вопрос о том, были они знакомы еще с этого времени или же они познакомились позднее, остается пока открытым.

Отсутствие данных о знакомстве Венелина с Пушкиным, относящихся ко времени их одновременного пребывания в Кишиневе, скорее говорит о том, что они познакомились не в этом городе и что тем более подружиться здесь они не могли. В этом отношении весьма показательны данные о знакомых Пушкина в Молдавии, которые приводит Б. А. Трубецкой — автор многих известных работ о жизни и творчестве поэта на молдавской земле. Согласно этим данным, общее число знакомых Пушкина здесь составляет 334 лица [32, с. 57]. В опубликованном Б. А. Трубецким «Биографическом словаре знакомых А. С. Пушкина в Молдавии», включающем 249 имен, Венелин отсутствует [5, с. 349—387]. Поскольку знакомство его с Пушкиным в Кишиневе не подтверждается какими-либо документами или свидетельствами современников, его можно отнести лишь к предполагаемым знакомым поэта по Кишиневу (письмо Б. А. Трубецкого автору настоящей статьи от 15 апреля 1984 г.). Очевидно, что если бы между Пушкиным и Венелиным установились здесь более или менее тесные отношения, это скорее всего нашло бы какое-то отражение в воспоминаниях их современников (в частности, И. П. Липранди) и других возможных документах.

Первая встреча Венелина с Пушкиным, подтверждаемая документальными свидетельствами, состоялась 27 марта 1829 г. за завтраком у Погодина, на котором присутствовали, как отметил в своем дневнике Погодин, «представители русской образованности и просвещения» — Пушкин, Мицкевич, Хомяков, Щепкин, Венелин, Аксаков, Верстовский, Веневитинов [33, с. 94]. Но была ли эта их встреча первой вообще, мы не знаем. Следующие же встречи, о которых есть достоверные сведения, произошли в начале 1830 г. в Петербурге, куда Венелин приезжал по делам предстоявшей поездки в Болгарию. Из письма Венелина к Погодину из Петербурга от 26 января 1830 г. следует, что он собирался посетить поэта. Сообщив о своем очередном визите к князю А. А. Шаховскому, Венелин писал: «Опять был у него Пушкин; зайду к нему» [8, с. 706]. Но исполнил ли Венелин свое намерение, неизвестно. В последующих его письмах к Погодину не говорится, что Пушкина он посетил. Из этого почти с уверенностью можно заключить, что визит к поэту нанесен не был: если бы он состоялся, Венелин не забыл бы сообщить о нем Погодину. Из цитируемого выше письма к Погодину от 14 февраля 1830 г. известно, что Венелин в Петербурге дважды встретился («спотыкнулся») с Пушкиным у местного книгопродавца Сленина.

Две следующие встречи Венелина с Пушкиным, не подлежащие сомнению, произошли снова в Москве, вскоре по возвращении Венелина из Петербурга и незадолго до начала его путешествия в Болгарию: 22 марта 1830 г., когда у Погодина собрались многие поэты и ученые, среди которых, кроме них, были К. Ф. Калайдович, П. М. Строев, профессор Варшавского университета А. Кухарский и другие [34, с. 162], и 29 апреля 1830 г. на новоселье у Погодина, когда было написано известное письмо Шевыреву, о котором речь шла выше.

Достоверных сведений о других встречах Венелина с Пушкиным нет (ср. [22, с. 63]). Можно только предполагать, что они могли встречаться и позднее, по возвращении Венелина из путешествия на Балканы.

Почти 50 лет назад М. Г. Попруженко, касаясь вопроса о знакомстве Венелина и Пушкина, выразил надежду на то, что в связи с приближавшимся тогда столетием со дня смерти Венелина (он умер 26 марта 1839 г.), возможно, «будут собраны материалы для более подробного вы-

яснения взаимных отношений между Погодиным, Пушкиным и Венелиным» [10, с. 910, сноска 2]. Материалы настоящей статьи, публикуемой за несколько лет до 150-летия со времени кончины Венелина, дают основные констатировать, что Венелин и Пушкин были просто знакомыми (скорее даже мало знакомыми) и что, вопреки предположению некоторых исследователей, дружеских отношений между ними не было.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Савельев Н.* Еще несколько подробностей о жизни и сочинениях Юрия Ивановича Венелина. — Литературные прибавления к Русскому инвалиду на 1839 год, № 21, 27 V 1839.
2. *Молнар И.* Черты частной и ученой жизни Ю. И. Венелина. — В кн.: Венелин Ю. И. Историко-критические изыскания. Т. II. Словене. М., 1849 (на тит. л. — 1841).
3. *Томашевский Б.* Пушкин. Кн. 2. М. — Л., 1961.
4. *Георгиев Е. А. С.* Пушкин и болгарите. — Литературна мисъл, 1967, № 2.
5. *Трубецкой Б. А.* Пушкин в Молдавии. 5-е изд. Кишинев, 1983.
6. *Прийма Ф. Я.* Из истории создания «Песен западных славян» А. С. Пушкина. — В кн.: Из истории русско-славянских литературных связей XIX в. М. — Л., 1963.
7. *Белкин Д. И.* Славянский номер «Литературной газеты» А. С. Пушкина и его друзей. — Советское славяноведение, 1974, № 3.
8. *Цявловский М.* Пушкин по документам архива М. П. Погодина. — В кн.: Литературное наследство. Т. 16—18. М., 1934.
9. *Формозов А. А.* Пушкин и древности юга России. — В кн.: Пушкин. Исследования и материалы. Т. IX. Л., 1979.
10. *Попруженко М. Г.* Страници из историята на Българското възраждане. — Пролетарна култура, год. III, 1938, кн. 8.
11. *Пушкин А. С.* Полное собрание сочинений. Т. XIV. Л., 1941.
12. *Байцура Т.* Ю. И. Венелин. Братислава, 1968.
13. *Пушкин А. С.* Полное собрание сочинений. Т. XV. Л., 1948.
14. *Венедиктов Г. К.* Новые материалы к биографии Ю. И. Венелина. — Уч. зап. Тартуского ун-та, вып. 642. Из истории славяноведения в России. II. Труды по русской и славянской филологии. Тарту, 1983.
15. *Сухомилов М. И.* История Российской академии. Вып. 7, СПб., 1885.
16. Архив АН СССР (ЛЮ), ф. 8.
17. Государственная библиотека СССР им. В. И. Ленина, ф. 49, папка V, ед. хр. 150.
18. Переписка А. Х. Востокова в повременном порядке. СПб., 1873.
19. *Барсуков Н.* Жизнь и труды М. П. Погодина. Кн. 3. СПб., 1890.
20. *Арнаутов М. В. Е.* Априлов. Живот, дейност, съвременници (1789—1847). 2-ро изд. София, 1971.
21. *Неделчев И.* Юрий Венелин и значение то му за Българското възраждане. (По случай 180 години от рождението му.) — Духовна култура, 1982, кн. 7.
22. *Черейский Л. А.* Пушкин и его окружение. Л., 1975.
23. *Севцицкий Г. С.* Нариси з історії болгарської літератури. Львів, 1957.
24. Две писма на Юрий Ивановича Венелина до Василия Априлов. — Сборник за народни умотворения, т. I. София, 1889.
25. Государственная библиотека СССР им. В. И. Ленина. Отдел рукописей, ф. 203, картон 197, ед. хр. 5.
26. *Априлов В.* Денница новобългарского образования. Одесса, 1841.
27. *Перетц В.* Ю. И. Венелин. — В кн.: С. А. Венгеров. Критико-биографический словарь русских писателей и ученых. Т. V. СПб., 1897.
28. *Венелин Ю.* Древние и нынешние болгаре в политическом, народописном и религиозном их отношении к россиянам. Изд. 2. М., 1856.
29. *Тихомирова С.* Под именем Венелина. — Дружба (Москва — София), 1982, № 2.
30. *Хазин М.* У истоков Болгарского Возрождения. — Кодры, 1982, № 8.
31. Из дневника и воспоминаний И. П. Липранди. — Русский архив, 1866, № 10.
32. *Трубецкой Б. А.* Кишиневские знакомые Пушкина (Новые архивные материалы.) — В кн.: Пушкин на юге. Кишинев, 1958.
33. *Цявловский М.* Пушкин по документам Погодинского архива. I. Дневники М. П. Погодина. — В кн.: Пушкин и его современники. Вып. XIX—XX. Пг., 1914.
34. *Барсуков Н. П.* Письма М. П. Погодина к С. П. Шевыреву. — Русский архив, 1882, № 6.



ОБЗОРЫ И РЕЦЕНЗИИ

Ц. Славчева. Историческата българистика в чужбина. 1944—1980. Библиографски справочник. София, 1983, 1004 с.

Ц. Славчева. Историческая болгаристика за рубежом. 1944—1980. Библиографический справочник.

Многовековая история болгарского народа, его прошлое и настоящее привлекают внимание многих ученых во всем мире. Количество публикуемой исторической литературы постоянно возрастает. Исследователю становится все труднее ориентироваться в потоке коллективных трудов, монографий, сборников статей и т. д. Поэтому появление новых библиографических изданий невозможно переоценить. К числу изданий подобного характера относится рецензируемый том, подготовленный Ц. Славчевой, которая проделала кропотливую работу по сбору и систематизации исследований в зарубежных странах за 1944—1980 гг.

Справочник содержит краткие биографические сведения и перечень трудов 480 историков-българистов из 19 стран, которые имеют не менее двух публикаций по проблемам политической, экономической и культурной истории болгарского народа.

Представлены как известные, ведущие болгаристы, так и молодые исследователи, а также те ученые, которые в числе общеевропейских и балканских проблем рассматривают и вопросы болгарской истории. Особо выделены слависты и балканисты, в чьих трудах исследуются политико-экономические и культурные взаимоотношения болгар с другими народами, роль и значение болгар в общеевропейском историческом процессе. Значительно обогатило сборник включение в него сведений о некоторых ученых византинистах, литературоведах, искусствоведах, языковедах, фольклористах и этнографах. Ц. Славчева приводит также данные об исследователях, изучающих деятельность Кирилла и Мефодия, правда, указывая только те труды, которые имеют «чисто исторический аспект» (с. IX). В специальных разделах отра-

жено 85 диссертационных работ (с. 901—908) и 62 отдельные (единичные) публикации авторов, которые затем отошли от болгарской проблематики (с. 909—912).

Вопрос о критическом изучении и полноте научной аргументации исторических фактов стоит сегодня особенно остро. Поэтому особого внимания заслуживает упоминание в справочнике авторов, тенденциозно освещающих отдельные вопросы и периоды истории Болгарии. Знакомство историков-марксистов с их работами позволит своевременно разоблачать фальсификации исторической действительности. Включение этих трудов интересно богатством фактологического материала и введением в научный оборот новых источников и архивных документов, которые недоступны ученым других стран.

Справочник составлен в алфавитном порядке фамилий ученых. Кроме фамилии, имени и отчества даны краткие биографические сведения о наиболее существенных этапах деятельности ученого, его преподавательской работе, научных интересах. Указаны домашние и служебные адреса, что может способствовать установлению личных контактов между учеными. Далее следует «Библиография». Учитывая ограничения в отборе работ, было бы уместным применить здесь более «узкий» термин, например: «список трудов» или «публикации». В сборнике освещена деятельность болгаристов-переводчиков. Все описания работ приводятся на языке оригинала. Исключение составляют публикации на греческом языке, данные в латинской транслитерации. В целом описания охватывают издания на 16 языках.

Пользование справочником значительно облегчают указатели, составляющие весьма ценную часть издания: пофамиль-

ный (именной) список историков-болгаристов по странам, указатель личных имен, встречающихся в библиографическом описании, указатель географических названий, тематический указатель, список сокращений и список наиболее важных источников, которыми пользовалась составительница. Тематический указатель состоит из следующих разделов: античность; балканские войны и первая мировая война; бессарабские болгары; библиография; Благоев Димитр; Болгарский Земледельческий Народный Союз; болгарские революционные демократы: Васил Левский, Г. С. Раковский, Л. Каравелов, Хр. Ботев; болгаро-советская дружба; связи и взаимоотношения Болгарии с другими странами и народами; болгаро-армянские отношения; болгаро-грузинские отношения; болгаро-белорусские отношения; болгаро-германские отношения; болгаро-эстонские отношения; болгаро-польские отношения; болгаро-румынские отношения; болгаро-сербские и болгаро-югославские отношения; болгаро-советские отношения; болгаро-чехословацкие отношения; возрождение; вооруженная антифашистская борьба болгарского народа; вторая мировая война; Димитров Георгий; Димитровский Коммунистический Союз Молодежи; эт-

нография; историография; история культуры; развитие культуры Болгарии после 1944 года; национально-освободительная борьба и Апрельское восстание; новая история; новейшая история; османский период XV—XVIII вв.; отечественный фронт; профсоюзное движение; рабочее революционное движение и история БКП; русско-турецкая война 1877—1878; сентябрьское восстание 1923; социалистическое строительство; средневековье (разделы указаны в той последовательности, которой придерживается автор сборника).

Рецензируемый том — ценный библиографический справочник, призванный восполнить пробелы в болгарской и зарубежной болгаристике, оказать помощь в исследовательской работе ученых, преподавателей, аспирантов, студентов, а также широкому кругу читателей, интересующихся историей болгарского народа. В изданиях подобного рода, конечно, неизбежны недочеты, пропуски и ошибки. Однако недостатки подобного рода легко могут быть устранены автором в последующем издании этого полезного и необходимого труда, который заслуживает самой высокой оценки.

Муртузалиев С. И.

E. PALOTÁS. Az Osztrák-Magyar Monarchia balkáni politikája a berlini kongresszus után. 1878—1881. Akadémiai kiadó. Budapest, 1982, 281 l.

Э. ПАЛОТАШ. Балканская политика Австро-Венгерской монархии после Берлинского конгресса. 1878—1881

В советской историографии еще не нашли должного отражения вопросы внешней политики Австро-Венгрии второй половины XIX в., ее мотивы и конкретное воплощение. Она изучалась преимущественно в связи со всем ходом международных отношений или сквозь призму русско-австрийских противоречий.

Исследование венгерского историка Э. Палоташа посвящено внешней политике Австро-Венгрии после Берлинского конгресса и до возобновления союза трех императоров летом 1881 г. В центре внимания автора развитие австро-венгерско-русских отношений. Должное внимание уделено отношениям с Германией, Англией и Турцией. Автор констатирует, что после Берлинского конгресса между великими европейскими державами отсут-

ствовали настоящие союзнические отношения (с. 48).

Известно, что в период русско-турецкой войны 1877—1878 гг. и после ее окончания австро-венгерская политика на Балканах являлась важным фактором в системе международных отношений. Берлинский конгресс в значительной степени стимулировал появившиеся ранее и расширившиеся в период восточного кризиса экспансионистские устремления габсбургской монархии. Так, исследователь подчеркивает, что захват Боснии и Герцеговины вынашивался руководящими кругами Австро-Венгрии еще накануне русско-турецкой войны. Они рассчитывали, что оккупация этих славянских земель улучшит стратегическое положение монархии в западной части Балканского

полуострова, воспрепятствует их присоединению к Сербии. Вена всячески препятствовала созданию крупного славянского государства на Балканах, так как оно, по мнению правящих кругов монархии, могло стать опорой русской политики, и поэтому не допустила присоединения к Сербии или Черногории Новобазарского санджака.

Австро-венгерская дипломатия во главе с Д. Андраши была удовлетворена решениями Берлинского конгресса, поскольку достигла главных целей, которые ставила перед собой. Ей удалось воспрепятствовать созданию Великой Болгарии, присоединению Боснии и Герцеговины к Сербии и в целом не допустить русской гегемонии на Балканах. Автор указывает, что этот успех был достигнут вследствие поддержки Австро-Венгрии со стороны европейских великих держав, которые также не были заинтересованы в дальнейшем усилении России. Царское правительство не смогло разладить антирусский концерт великих держав и, таким образом, после блестящих военных побед потерпело унижительное дипломатическое поражение.

Э. Палоташ обстоятельно изучил материалы, раскрывающие претворение решений Берлинского конгресса в жизнь, внешнеполитические шаги габсбургской монархии, ее противоборство с русской дипломатией. «Берлинское урегулирование» оказалось сложным и длительным процессом, а его конечные результаты часто были не такими, как представлялось его творцам в июле 1878 г.

Для Австро-Венгрии это больше всего проявилось в период военной оккупации Боснии и Герцеговины. Руководству монархии эта акция казалась легко осуществимой, но вследствие несговорчивости турецкого правительства и, особенно, в связи с вооруженным сопротивлением местного славянского населения покорение Боснии и Герцеговины превратилось в тяжелую трехмесячную борьбу, которая стоила армии трех тысяч убитыми, а казне обошлась более чем в 100 млн форинтов (с. 35). Большая часть общественности в обеих частях монархии отрицательно отнеслась к оккупации славянских областей, считая нежелательным для немцев и венгров усиление и без того количественно преобладающего славянства. Все же, нам кажется, венгерский историк склонен несколько преувеличивать масштаб и характер сопротивления общественности и прессы официальной политике.

В книге содержатся новые данные о государственных деятелях, влиявших на формирование внешней политики Австро-Венгрии. Не уменьшая значение ее классового характера, отмечая ее чисто экономическое и великодержавное направление, автор считает, что во внешнеполитических решениях, несмотря на некоторую видимость конституционности, сплошь проявлялись абсолютистские тенденции венского двора. Так, Франц Иосиф и его министр иностранных дел Д. Андраши на протяжении всего восточного кризиса, и особенно после оккупации Боснии и Герцеговины, полностью игнорировали необходимость парламентских санкций по важным государственным вопросам. Правильно отмечается, что «монарх и его министр иностранных дел никогда не посвящали правительства обеих частей монархии в тайны дипломатических переговоров. Почти абсолютистское ведение внешней политики было заложено в соглашении (1867 года.— *И. М.*)» (с. 18).

Отмечая, что в уже опубликованных работах не уделено должного внимания экономическим мотивам во внешней политике Дунайской монархии, Э. Палоташ стремится восполнить этот пробел. Он подчеркивает, что во внешней торговле Австро-Венгрии балканский рынок всегда занимал значительное место. При этом приводятся важные факты о новой экономической стратегии правящих кругов, которые не остановились даже перед политическим нажимом, особенно по отношению к Сербии. Маленкое княжество не признавало требования соседней великой державы о предоставлении ее товарам режима наибольшего благоприятствования, отказывалось подписать неравноправный торговый договор (с. 164). Австро-Венгрия стремилась поставить под свой контроль все главные балканские железнодорожные коммуникации и, таким образом, получить монопольный доступ на внутренние рынки региона, регулировать его экономические связи с внешним миром. Эта политика вела к росту противоречий не только с Сербией, но и с Болгарией, Румынией, Грецией, Черногорией. Выявились разногласия и между австрийской буржуазией и венгерскими аграриями. Австрийский капитал был заинтересован в балканском рынке и ограждении своей промышленности при помощи тарифных барьеров от западной конкуренции. Венгерские аграрии, наоборот, стремились к расширению торговых связей с Германией, но требовали ограни-

чить приток сельскохозяйственной продукции с юга.

В рецензируемой работе внешняя политика дуалистической монархии рассматривается шире, нежели только ее балканское направление. С начала 1879 г. изменилась политика Бисмарка по отношению к России, он начал решительно поддерживать восточную политику Австро-Венгрии. Э. Палоташ пишет, что Вена шла на сближение с Германией из-за опасения нового военного выступления России, на этот раз против Габсбургской монархии (с. 119). На самом деле такой угрозы не существовало, поскольку Россия ни экономически, ни политически, ни в военном отношении не была к этому готова. На это указывает и сам автор, исследуя русские дипломатические документы.

В начале 80-х годов правительство Австро-Венгрии, так же как и в предыдущий период, своего главного противника видело в России и поэтому не склонно было безоговорочно поддерживать сложные комбинации Бисмарка по возобновлению союза трех европейских императоров. В Вене с подозрением воспринимали всякое стремление Петербурга к возобновлению союзнических отношений. По мнению исследователя, важную роль при этом играла боязнь панславизма, поскольку венгры и немцы считали, что под его знаменем проводится вся балканская политика России. Неоднократно отмечается, что и в российских правящих кругах отсутствовали единые взгляды при определении стратегических задач на Балканах.

Неуступчивость Австро-Венгрии в торгово-экономических делах привела летом 1880 г. к резкому ухудшению отношений с Сербией. В Вене с тревогой следили за стремлением болгар создать единое государство; напряжение возникло в отношениях с Румынией. Э. Палоташ отмечает, что Габсбургская монархия не была заинтересована в полной ликвидации турецкого присутствия на Балканах (с. 214).

Подписание 18 июня 1881 г. австро-русско-германского договора не привело к резкому разграничению сфер влияния

на полуострове. В сложившейся ситуации Россия не желала обострять отношения с Австро-Венгрией, обходила второстепенные нерешенные вопросы. Правда, венская дипломатия сумела воспользоваться отставкой правительства Ристича и временно усилить свое влияние в Белграде. Против значительных экономических привилегий, полученных монархией в Сербии, возражали не только русские, но и англичане и французы, которые также были заинтересованы в местном рынке. Договор от 28 июня 1881 г., подписанный в Белграде, поставил внешнюю политику княжества под контроль Австро-Венгрии, поскольку Сербия обязалась не подписывать без ее ведома никакие соглашения с другими странами (с. 256). Э. Палоташ считает, что фактически Австро-Венгрия временно навязала своей южной соседке политическую и экономическую опеку.

На наш взгляд автор интересного исследования склонен несколько сглаживать агрессивность внешней политики Австро-Венгрии на Балканах, ее непосредственную ответственность за обострение международных отношений в конце 70-х годов XIX в. Мало внимания уделено национально-освободительному движению славянских народов, их борьбе за достижение подлинной независимости. При анализе официальной политики русских правящих кругов, разногласий в их стане следовало бы выделить и позицию демократических кругов русского общества по отношению к освободительной борьбе балканских народов. В книге не показано, как воспринималась восточная политика монархии славянами, проживавшими в самой Австро-Венгрии. Но нашему мнению, недостаточно четко раскрыты мотивы, приведшие к отставке Д. Андраши с поста министра иностранных дел.

В заключение следует отметить обширную источниковую базу работы. Автор использовал материалы из Австрийского государственного архива, из Архива внешней политики России, проанализировал широкий круг литературы, советской и зарубежной.

Мандрик И. А

Источники и исследования по истории Восточной Европы

Рецензируемый том «Источников и исследований по истории Восточной Европы» — последний (XXVI) том основанной Э. Винтером серии. Основной идеей этого плодотворного издания в течение многих десятилетий было понимание германо-славянских взаимоотношений как фактора, способствующего миру в Европе.

Том содержит 38 кратких биографий; 30 авторов из 5 стран представляют сторонников мирного и дружественного сосуществования и сотрудничества, а также духовно-культурного обмена между славянскими и неславянскими народами на протяжении пяти столетий.

Особую ценность статей, по необходимости ограниченных несколькими страницами, составляет сочетание биографической информации с показом отношений и связей со славянскими народами. Все представленные здесь деятели являются выдающимися защитниками гуманизма и взаимопонимания между народами.

Несмотря на краткость, все статьи отличаются тщательным учетом результатов современных исследований, а также новых источников, и с этой точки зрения данный том представляет образец исследования проблемы славяно-германской взаимности. Поэтому ограниченное количество биографий не представляется недостатком. Удачно осуществленный выбор и последовательность биографий позволяют читателю заполнить пробелы во времени и тем самым получить представление о своеобразной непрерывности развития славяно-германских взаимоотношений.

Начатый Яном Амосом Коменским, чешским поэтом, педагогом и теологом, XVII в. представлен Адамом Олеариусом и Эренфридом Вольтером фон Чирнхаусом. Особое значение XVIII в. отражено, в частности, в статье о Г. В. Лейбнице — универсальном ученом, внесшем «германо-славянскую взаимность в историю человечества», видевшем «в ней служение общему благу» и «полностью понимавшем значение России в мировом научном процессе».

Обращение к славянским народам и их культурам достигает в эпоху Просвещения новой качественной ступени. Вся Европа интересовалась Россией.

А. Л. Шлёцер становится в своей резкой социальной критике радикалом и новатором в своих научно-исторических работах.

К. Г. Антон развивал идею создания ученых обществ и стремился к международному научному обмену идей. Й. Добровский выступал против преувеличенного и несвоевременного патриотизма, как и против презрения к народу и националистического, извращенного романтизма. Е. Копитар выступал за «европейское научное признание нового славянского исторического самосознания». Б. Болдцано Э. Винтер приводит в качестве примера того, как «осуществляется идея, когда учитываются необходимые общественные предпосылки».

Широко распространенные отношения с различными славянскими народами, в том числе с русскими и поляками, поддерживал, например, Ю. Петцхольд, один из основателей доакадемической науки о библиотеках и информации в Германии XIX в. Его «Сообщения из области библиографии и библиотечного дела» издавались в течение 45 лет.

А. Лескин стал в условиях кайзеровской Германии инициатором глубокого понимания культуры славянских народов, их языков, истории и, прежде всего, их литератур. В первую очередь на него мог опираться В. Ягич в своем «Архиве славянской филологии», который в течение более чем 50 лет активизировал многих ученых и привлекал их в качестве авторов. Словенец Миклошич и хорват Ягич были связаны с поляком А. Брюкпером, благодаря многолетней деятельности которого в Берлине возник новый центр славистики.

Как свидетельствуют документы берлинского периода, Октябрьская революция в России оказала на всемирно известного ученого А. Эйнштейна серьезное влияние.

Противоречивый жизненный путь патриота О. Корфа служит примером тех сил в немецком народе, которые в результате горького личного опыта отвернулись от фашизма и пошли по пути активной дружбы с Советским Союзом.

Далее в рецензируемом труде признаются заслуги трех советских ученых — А. С. Ерусалимского, П. Н. Беркова и А. М. Сахарова, с чьими трудами в тече-

ние многих десятилетий связана блестящая традиция в исследованиях славяно-германских взаимосвязей и научных отношений. Смысл деятельности Э. Винтера заключался также и в том, чтобы постоянно держать в поле зрения задачи, которые в будущем должны быть решены исследователями дружественных стран.

Этот том является обширным справочным трудом и одновременно хроникой, показывающей «впечатляюще густое и пронизанное светом идеалов сплетение германо-славянских отношений».

Грабош У.

Я. П. Запаско, Я. Д. Исаевич. Пам'ятки книжкового мистецтва. Каталог стародруків, виданих на Україні. Кн. 1—2. Львів, 1981—1984

Я. П. Запаско, Я. Д. Исаевич. Памятники книжного искусства. Каталог старопечатных книг, изданных на Украине. Кн. 1—2

Издание, подготовленное А. П. Запаско и Я. Д. Исаевичем, принадлежит к числу таких, несомненная польза и огромное значение которых самоочевидны. Польза его в том, что созданный авторами каталог старопечатной украинской книги является великолепной базой и неременным условием дальнейшего успешного развития самых разнообразных исследований в области украинской и восточнославянской культуры, прежде всего истории науки, общественной мысли, просвещения. Значение — в том, что оно подводит итог многолетнему, кропотливому поиску дореволюционных и советских исследователей старопечатной книги, сводя воедино все собранные по крупицам знания о книжных сокровищах, порожденных украинскими землями в XVI—XVIII вв.

Каталог складывается из двух книг (вторая книга — в двух частях), в которых описаны все известные к настоящему времени старопечатные (до 1800 г.) издания кириллического и латинского шрифтов, вышедшие на Украине. Описания изданий помещаются в хронологическом порядке, приводятся выходные данные книг, сведения об их содержании, языке, полиграфической организации текста, художественном оформлении, особенностях экземпляров и месте их хранения. Каталог сопровождается очерками развития книгопечатания; приведенные в них данные дают представление о масштабе и особенностях книгоиздательского дела на Украине в XVI—XVIII вв. Например, в начальный период развертывания книгопечатания (1574—1648) было издано более 365 книг. Сеть типографий была весьма обширна (25 типогра-

фий в 17 городах и селах), но почти 70% книжной продукции приходилось на издания Киево-Печерской лавры, Львовского братства, типографий Константина Острожского и Михаила Слезки. Уже в это время значительную часть изданий составляли книги светского характера, особенно школьные. Во второй половине XVII в. одновременно с ростом монастырских типографий растет удельный вес религиозных изданий. В XVIII в. по мере секуляризации культуры в целом увеличивается число светских изданий, расширяется география типографского дела, крепнут и расширяются связи украинского книгопечатания с культурой стран Центральной и Западной Европы. 1765 г. — год появления первых книг, отпечатанных гражданским шрифтом, служит естественной границей, разделяющей части второй книги каталога.

Каталог снабжен целой системой специальных указателей, которые значительно облегчают работу с изданием. Помимо алфавитного указателя книг старой печати, приводятся указатели, распределяющие издания по отдельным типографиям, по тематическому принципу (например, буквари, историческая тематика, официальные акты, тезисы диспутов, философия, медицина и др.), по фамилиям гравюров, оформлявших книги, наконец, именной указатель.

Издание богато оформлено: воспроизведены титульные листы и лучшие гравюры многих регистрируемых изданий. Поэтому каталог может послужить надежным подспорьем в работе не только историка, но и искусствоведа. Кроме того, появление такого труда дает возможность оценить количественную сторону и динамику ис-

торико-культурных процессов на Украине в XVI—XVIII вв. Опираясь только на данные каталога можно сделать немало важные выводы о соотношении светских и религиозных изданий, книг кириллического и латинского шрифтов, о круге интересов украинского читателя того времени, о характере, содержании и путях распространения информации в украинском обществе, наконец, о развитии определенных идеологических процессов.

Огромная работа, проведенная авторами-составителями, не исключает, естественно, мелких ошибок и неточностей. Например, вопреки указаниям каталога в Центральной научной библиотеке АН УССР в Киеве нет экземпляра книги М. Смотрицкого «Апология восточного путешествия» (№ 182 каталога). По при-

знанию самих авторов, без проверки включены в каталог некоторые старообрядческие издания, содержащие ложные, по всей видимости, указания на львовские или почаевскую типографии как место выхода этих книг. С другой стороны, оправданным является исключение из каталога значительного числа изданий, известных лишь по старым, преимущественно дореволюционным библиографиям, и исследованиям, но не обнаруженных к настоящему моменту. Как и всякое актуальное и фундаментальное исследование, каталог украинских старопечатных книг не только подводит итоги, но и стимулирует дальнейшее развитие книговедческих поисков.

Дмитриев М. В.

L. Dezső. Studies in syntactic typology and contrastive grammar. Budapest, 1982, 307 p.

L. Dezső. Typological studies in old serbo-croatian syntax. Budapest, 1982, 392 p.

Л. ДЕЖЕ. Исследования по синтаксической типологии и контрастивной грамматике

Л. ДЕЖЕ. Типологические исследования по древнесербохорватскому синтаксису

Объединение двух книг Л. Деже в рамках одной рецензии не случайно: выпущенные почти одновременно, они удачно дополняют друг друга, создавая у читателя более цельное представление о лингвистической концепции автора. В какой-то мере эти монографии — итог многолетних научных поисков известного венгерского слависта, совмещающего свою приверженность славянскому языкознанию с теоретическими разработками по методам лингвистического анализа, типологии, контрастивной грамматике (в этой области Л. Деже фактически является пионером), а также, разумеется, с исследованиями по венгерскому языку.

Один только перечень лингвистических «профилей» Л. Деже свидетельствует о многообразии его научных интересов, равно как и о том, что обе монографии могут быть полезны лингвистам различных специальностей. Однако, если все же попытаться кратко ответить на вопрос, о чем эти книги — то скорее всего ответ будет: о типологии. Конкретный языковой материал привлекает внимание автора прежде всего в типологическом ас-

пекте, в связи с разработкой новых путей и методов типологии в целом и синтаксической типологии в частности.

«Типология никогда не была цельной наукой, но в отсутствии точных формулировок внутренние различия в ней не казались столь уж резкими. При переходе к более точным методам описания эти различия должны выступить более явно, разные точки зрения — стать более четко противопоставлены». Сказанные в одной из рецензируемых книг, эти слова как нельзя более верно описывают состояние современной типологии. Если как-либо квалифицировать разные ее направления¹, то типологию Л. Деже можно охарактеризовать как смешанную. Л. Деже опирается на идеи и методы пражского структурализма, синтаксиса

¹ На наш взгляд, в современной типологии можно выделить по крайней мере следующие направления: структурное, представленное, скажем, в работах ленинградских типологов; функциональное, как, например, у С. Дика [1]; логическое — в русле исследований Дж. Гринберга [2]; континентальное [3].

духе Л. Теньера, порождающей грамматики, филлморовской падежной грамматики, ленинградской типологической школы и др. Наконец, если большинство типологов ограничивают область исследования синхронным состоянием некоторых языков, то Л. Деже стремится соединить синхронную типологию с исторической. В какой-то мере такое соединение обуславливается и самим материалом, поскольку славянские языки и венгерский, имеющие длительную письменную традицию и достаточно хорошо документированные на разных этапах развития, дают прекрасную возможность для испытания новых методов историко-типологического исследования.

Широта взглядов автора объясняет и структуру рецензируемых книг: они написаны не как традиционные монографии, а как набор типологических эссе, материалом для которых служат факты сербохорватского, русского, венгерского, эстонского, английского языков. Помимо названных, выступающих как основные объекты исследования, Л. Деже привлекает и другие, более «экзотические» языки, скажем, табасаранский — как пример языка со сложной, многомерной падежной системой.

Композиционно обе монографии строятся сходным образом. В отдельных главах рассматривается поверхностная структура предложения, а именно — структура именной группы и структура глагольных конструкций с подчиненными именами и именными группами. При анализе именных групп отдельно рассматриваются формальные аспекты падежных систем конкретных языков, а также поверхностные реализации глубинных падежей, выделяемых Ч. Филлмором [4]. Помимо простых имен рассматриваются именные группы, выраженные конструкциями с различными формами, и конструкции, представляющие собой предложения (*clauses*), вставленные в более сложную структуру. При описании глагольной группы предложения различаются: словообразовательные модели глагольной системы, типы предикатов, группы глаголов по валентностям (количество валентных мест и их состав, т. е. падежная рамка глагола).

Общие разделы посвящены типологии порядка слов. Последний рассматривается как возможное средство оформления связей между составляющими предложением, а также между элементами этих составляющих (Л. Деже называет их блоками), т. е. как средство морфологиче-

ского оформления. Далее, автор подчеркивает роль порядка слов в организации тема-рематической структуры высказывания. Актуальное членение и его важнейшие категории (тема и рема, топик и комментарий) составляют в работах Л. Деже предмет особого изучения. В связи с этим кругом проблем приобретает актуальность и классификация типов предложения по модусу (если изучение чистого синтаксиса, как правило, ограничивается анализом повествовательных предложений, то здесь необходимо рассматривать и другие типы — автор подчеркивает это, говоря о задачах и перспективах типологии актуального членения) и, конечно же, анализ более крупных, нежели предложение, единиц — абзаца, текста.

В «Древнесербохорватском синтаксисе» использован обширный текстовый материал: 200 сербских и боснийских грамот XII—XIV вв., грамоты Дубровника, 50 сербских дарственных, хорватские грамоты (по [5; 6]), Законник царя Душана, Ватиканский хорватский молитвенник. Несомненно, этот корпус достаточно представлен, но неясно, един ли он в языковом отношении: возможно, автор не совсем прав, имплицитно полагая, что он исследует синтаксис одного языка XII—XIV вв., а не синтаксис нескольких локальных вариантов. В связи с этим возникает и другая проблема: как избежать возмущающего влияния диалекта, жанра, функционального стиля отдельного текста. Вероятно, действие этого фактора можно несколько снизить, привлекая разнообразные жанры и стили. Представляется, что автор имеет это в виду: вместе с собственно лингвистическим описанием текстов он приводит набросок их жанровой классификации, в которой опирается на композиционные особенности отдельных текстов, на повторяемость в них определенных формул, оборотов. Возможно, в дальнейшем две классификации, собственно лингвистическую и филологическую, удастся объединить, привлекая для второй большее количество собственно языковых данных².

Рассмотрим более подробно типологическую концепцию автора и ее применение к конкретным фактам. Основной постулат Л. Деже заключается в том, что существует инвариантная базисная структура языка, имеющая особые закономер-

² Примеры подобного синтеза уже есть, ср. опыт классификации загадок [7], классификацию текстов германского поэтического эпоса [8].

ности. Эти закономерности следует изучать как дедуктивно, так и индуктивно, на основании обобщения данных о поверхностной структуре естественных языков. Автор различает также языковые уровни, отделяющие инвариантный (наиболее глубокий) от поверхностного, однако не совсем ясно, каковы критерии разграничения подобных уровней. Видимо, правила перехода от одного уровня глубокой структуры к другому делятся на универсальные и специфические; в целом представляется, что эти правила неаддитивны и сведение их к некоторому суммарному результату несколько упрощает и искажает модель языка в порождающей грамматике.

Центральным типологическим понятием у Л. Деже является тип, рассматриваемый как инвариант, или эталон. В естественных языках тип реализуется по-разному и с разной степенью «чистоты». Помимо общеязыкового типа, автор различает типы в системах и подсистемах языка. Возможно, следующим шагом в развитии типологии такого рода может быть установление правил взаимодействия подсистем. Так, если синтаксис простого повествовательного предложения в славянских языках аккузативен (подлежащее при непереходном глаголе и подлежащее при переходном глаголе ведут себя одинаково, будучи противопоставлены прямому дополнению), то синтаксис соотносительных именных предикативных конструкций может быть эргативен и/или нейтрален, ср. русск. *Пришли строители — Приход строителей; Строители сдали дом — Сдача дома строителями / Сдача дома! / Сдача строителями* / **Сдача строителей* (в данном толковании); *Дом сдан — Сдача дома*; аналогично польск. *milczenie X-a; spelnienie X-a przez Y-a; *spelnienie przez Y-a; spelnienie X-a; *spelnienie Y-a* (в данном толковании). Соотношение двух этих подсистем, несомненно, связанных друг с другом, требует особого изучения и может несколько изменить представления о типе в целом.

Существенным для концепции автора является противопоставление исходных и производных конструкций, описываемых в терминах теории диатез. Сравнивая диатезные преобразования различных языков, автор нередко стремится выявить при исследовании реализацию именно наиболее типичных черт или различные отклонения от «диатезного инварианта». Представляется, что производные конструкции заслуживают более детального

рассмотрения. Так, автор объединяет под рубрикой коммуникативной организации высказывания диатезные преобразования, с одной стороны, и правила порядка слов, а также интонации — с другой. Однако не все диатезные преобразования обязательно связаны с резким изменением коммуникативной структуры (подобная функция ярко выражена только у пассива, в то время как, скажем, у медиа или рефлексива она играет весьма незначительную роль). Несомненно, синтаксические конструкции, обеспечивающие некоторое актуальное членение, нередко совмещены с определенным порядком слов, однако это не универсальная закономерность³. Кроме того, порядок слов в связном тексте существенно зависит от контекстных факторов. Так, Л. Деже считает базовым для сербских памятников XII—XIV вв. порядок «подлежащее — сказуемое — дополнение» (SVO), сосуществующий с порядками SOV, VSO, VOS, OSV, OVS. На основании текстов, использованных автором, можно предположить, что при неопределенном и неререферентном (эпизодическом, не упоминающемся выше в тексте) объекте наиболее предпочтителен порядок SVO; что касается порядка OVS/OSV (=O...S) то он, очевидным образом, выполняет функцию тематизации объекта. Эта функция сближает его с пассивом, однако сербский пассив, как правило, двучленный, т. е. в нем типично отсутствует имя субъекта (агентивное дополнение). Таким образом, собственно пассив связан с тематизацией объекта (исходного прямого дополнения), а типичные случаи употребления конструкции OVS/OSV — с тематизацией объекта и приданием субъекту статуса ремы, ср. našem trgovcem ješ dana zabara od turcina (p. 350); srbvekami da oblada gospodinj sač (p. 326); no strle zaostrene (агентивное дополнение невозможно) (p. 21). По-видимому, к контекстным факторам, в частности тематизации, контрастивному выделению и подчеркиванию, можно свести то разнообразие порядков слов, которое наблюдается в современном венгерском языке и которое заставляет Л. Деже говорить о том, что венгерский из эталонного языка (тип III по Дж. Гринбергу [9]) превращается в смешанный.

³ Она не соблюдается в ряде астронезийских языков (тагальский, малагасийский, моту), в принципе характеризующихся жестким порядком слов. По-видимому, она очень слабо соблюдается и в языках с относительно свободным порядком слов — типа русского и венгерского.

В принципе соотношение эталонного и неэталонного в языках представляется более понятным при описании синхронии. В историческом анализе многое остается неясным. Отчасти это объясняется большей (по сравнению с лексикой) изменчивостью синтаксиса — отсюда трудности, с которыми сталкиваются все попытки синтаксической реконструкции. При анализе синтаксиса учитывается порядок слов, связанный, в свою очередь, с интонацией⁴, которую можно проследить только на живом языке. Кроме того, некоторой помехой при рассуждениях об историческом статусе языковых явлений служат распространенные, однако не всегда доказанные, положения относительно прошлого языков. Так, Л. Деже, анализируя древнесербский порядок слов, говорит о сдвиге от и.-в. SOV к порядку SVO. Здесь неясны два момента: во-первых, критерии реконструкции базового порядка слов и порядка слов вообще, во-вторых, реконструкция и.-в. порядка именно в виде SOV. При синтаксической реконструкции такой глубины исследователь в любом случае не избежит рассуждений о свойствах текстов того или иного жанра/стиля. Очевидно, что реконструкция праиндоевропейского состояния (в которой пока существуют гипотетические порядки SOV, SVO и даже VSO) опирается на тексты, в стилистическом отношении очень существенно отличающиеся от сербских памятников XII—XIV вв. Видимо, до тех пор, пока нет четких собственно лингвистических критериев реконструкции порядка следования элементов, все диахронические констатации такого рода будут оставаться умозрительными⁵.

Л. Деже уделяет большое внимание формальному аспекту структуры предложения: в обеих монографиях неоднократно подчеркивается, что задача автора заключается в синтезе формального (синтаксического) компонента с содержательным. Центральное место в работах занимает структура падежных систем отдельных языков. Автор разбирает падежные системы как бы с «обеих сторон»: сначала

рассматриваются соответствия семантических ролей в плане выражения, затем разбирается содержательная сторона каждой падежной формы. Что касается семантических полей, то, вслед за Ч. Филлмором, автор выделяет роли Агенса, Объекта (ср. Пациенса), Экспериенцера, Локатива, Инструмента. Из падежных форм наибольший акцент делается на номинативе, аккузативе, паритиве (Л. Деже выделяет в классе аккузативных языков подкласс паритивных, представленный эстонским). При этом анализ падежных систем не является самоцелью, а служит для более точного и полного описания структуры предложения.

На наш взгляд, автор несколько пренебрегает столь существенным и столь явно выраженным в славянских языках явлением, как согласование. Не останавливаясь на синхронных аспектах согласования, заметим, что история согласования может быть очень полезна как для синтаксической типологии, так и для контрастивной лингвистики. Это можно проиллюстрировать одним фактом из истории сербохорватского согласования. В текстах XII—XIV вв., насколько можно судить, согласование носит преимущественно семантический характер, т. е. при атрибутивном и актантно-предикатном согласовании важную роль играет род, определенность и, по-видимому, одушевленность имени. Некоторое влияние оказывает на согласование и порядок следования элементов: правила согласования более жестки при порядке SVO, нежели при VOS/SOV или S...V, [11; 12]. В современном сербохорватском явно произошла синтаксическая унификация правил согласования, ср. совр. *Vi ste (pl.) poznavali (pl. masc)*, но в языке XIX в. *Vi ste (pl.) poznavale (pl. fem.)* 'Вы (о женщинах) узнали' (цит. по [12]). Согласование, как и другие формальные, связанные с маркированностью/немаркированностью свойства, позволяет выделять классы морфологически и/или синтаксически аномальных имен и глаголов, чрезвычайно информативные с типологической точки зрения. Вероятно, подобные классы могли бы быть замечательным объектом диахронической типологии, тем более что многие из них семантически мотивированы (например, слова со значением всеобщности, собирательности — типа сербского *деса*, слова-кванторы, модальные глаголы и т. п.)⁶.

⁶ Ограничимся здесь несколькими примерами явлений, напоминающих универсальные. Слова со значением 'говорить',

⁴ Позволим себе сослаться на интересное исследование взаимодействия интонации и порядка слов в венгерском языке [10].

⁵ Возникает сомнение и в том, что при реконструкции праславянского порядка слов может быть полезен, как это полагает автор, порядок слов в балтийских языках: архаичность грамматической системы и/или лексики не указывает однозначно на архаичность порядка слов.

Возможно, более четкая семантико-синтаксическая классификация глаголов была бы удобной при анализе древнесербохорватского синтаксиса (главной лексике памятников XII—XIV вв. посвящен большой раздел соответствующей монографии). Л. Деже классифицирует глаголы по числу валентных мест и выделяет две наиболее распространенные надежные рамки — /Агенса, Объект/ и /Агенса, Экспериенцер/. Кроме того, следуя традиции многих исторических грамматик, автор рассматривает отдельно непроизводные и производные основы (различая, далее, основы на *-i-*, *-je-* и *-jeo-*). Указывается, что в праславянском оппозиция непроизводных/производных глагольных основ соотносилась с переходностью глагола и с его характеристикой по способу действия (согласно другой точке зрения — по виду). Возможно, уже в праславянском соотношении не было столь однозначным, но даже если согласиться с данным положением, несомненно, что в сербохорватском языке XII—XIV вв. подобное различие производных/непроизводных основ уже стерлось, и, возможно, было заменено каким-то иным (однако каким содержательно — остается неясным). Как бы то ни было, перехода от морфологической классификации глаголов к синтаксически и семантически ориентированной не создается: морфологическое противопоставление почти не мотивировано семантически и как бы повисает в воздухе.

Несколько неясны критерии описания залогов. Так, в «Древнесербохорватском синтаксисе» показывается, что в памятниках XII—XIV вв. пассив и медий четко разграничены. Тем не менее их противопоставление носит чисто морфологический характер. Синтаксически и семантически медий, рефлексив и пассив далеко не всегда разделимы, ср. разбираемый самим автором пример *i-ocistimse od-grieha naiuchega* 'И очистимся от греха.../И будем очищены от греха...' (р. 24), а также примеры на с. 24—25,

сказать⁷, а также 'чихать', 'кашлять' устойчиво требуют оформления подчиненного им имени субъекта эргативом даже тогда, когда язык утрачивает эргативность и, напротив, легче всего приобретают эргативное оформление имени при эргативизации языка. Слова женского рода при формализации системы согласования наиболее упорно сопротивляются новым правилам. Динамические глаголы, а также глаголы 'спать', 'жить' нередко сохраняют (приобретают) особые согласовательные характеристики или ведут себя морфологически особым образом.

326 этой монографии. В целом создается впечатление, что пассив и медий трактуются как неравные с точки зрения категории залога формы: пассив связывается с итергентной переходностью глагола, медий нет. По-видимому, для диахронической типологии и контрастивной грамматики весьма существенны варьирующие от языка к языку соотношения смыслов и средств выражения пассива, медия, медио-пассива, рефлексива; при реконструкции морфологических показателей (ср. разбираемый Л. Деже славянский **-i-*) все чаще выясняется, что эти смыслы, а также, например, каузативность, итеративность и интензивность, стативность/результативность и пассивность нередко комбинируются; выявить первичный смысл подчас не удается — возможно, это и не должно удаваться⁷.

Если при анализе глагольных форм синтаксическая типология находится на пути поиска того, как связать воедино содержательные и формальные характеристики, то для имен многие категории уже ясны и задача заключается в том, чтобы найти наиболее приемлемые методы анализа. В практике синтаксической типологии уже учитываются многие итергентные свойства имен, получившие отражение в разнообразных иерархиях (субъектности, тематичности, одушевленности и т. п.), ролевые свойства, прагматические свойства, актуализуемые в тексте, и наконец, формальные свойства. Не совсем ясно пока, как описывать в терминах перечисленных категорий сложные именные составляющие предложения — обороты с нефинитными глагольными формами, вставленные предложения (придаточные). По-видимому, автор рецензируемых книг сознает эти трудности и идет на некоторое упрощение рассматриваемого материала, приравнивая сложные составляющие к обычным именам. Тем не менее, замена простого аргумента на сентенциальный не является автоматической: во всех языках имеются лексемы, сочетающиеся с первым, но не со вторым и наоборот (ср. русск. *мочь*, польск. *zachować*, др.-схрв. *početi*, сочетающиеся только с сентенциальным аргументом, но совр. схрв. *почети*, сочетающиеся и с именем). В процессе изменения языков такие лексемы перегруппируются (так, во многих языках отрицательные показатели при глаголе развиваются из верхних отрицательных гла-

⁷ Ср. однако убедительное доказательство эволюции рефлексив → медий в и.-е. языках [13].

голов типа 'Неверно, что ...') и этот процесс существен и для исторического описания языка, и для трактовки сочетаемых свойств лексем.

Даже из краткого обзора можно видеть, что концепция Л. Деже мыслится как динамическая, открытая: он не противопоставляет типологию другим областям языкознания, а напротив, ищет точек пересечения типологии, сравнительно-исторического языкознания, текстологии, источниковедения, науки об универсалиях. Автор указывает во введении к одной из монографий, что его теоретические взгляды складывались в течение длительного периода времени — и он готов к дальнейшей переработке и изменению их.

Типологии последнего времени присуще стремление к расширению фактической базы; при этом нередко рассматриваются «экзотические» языки. Обращение автора к материалу сербохорватского и других хорошо описанных языков полезно как для типологов, не всегда знакомых с фактами этих языков, так и для славистов, интересующихся типологической проблематикой.

Полинская М. С.

ЛИТЕРАТУРА

1. Dik S. Studies in functional grammar. London, 1980.
2. Universals of human language,

v. 1—4 / Ed. J. Greenberg. Stanford, 1978.

3. Принципы описания языков мира. М., 1976.
4. Филлмор Ч. Дело о падеже. Дело о падеже открывается вновь.— В кн.: Новое в зарубежной лингвистике, вып. X. М., 1981.
5. Premuda V. Najstariji datovani spomenik hrvatske gotice.— Nastavni vjesnik, № 36, s. 81—97.
6. Surmin D. Hrvatski spomenici, sv. I. Zagreb, 1898.
7. Елизаренкова Т. Я., Топоров В. Н. Древнеиндийская поэтика и ее индоевропейские истоки.— В кн.: Литература и культура древней и средневековой Индии. М., 1979, с. 37.
8. Смирницкая О. А. Метрические единицы аллитерационного стиха (к проблеме германской эпической поэзии).— В кн.: Художественный язык Средневековья. М., 1982, с. 269—271.
9. Гринберг Дж. Некоторые грамматические универсалии, преимущественно касающиеся порядка значимых элементов.— В кн.: Новое в лингвистике, вып. V. М., 1970, с. 118.
10. Hertzron R. Non-applicability as a test for category definition.— In: Hungarian linguistics / Ed. F. Kiefer. Amsterdam — Philadelphia, 1982.
11. Corbett G. Hierarchies, targets and controllers: Agreement patterns in Slavic. London — Canberra, 1983.
12. Herrity P. Problem kongruencije u srpskohrvatskom i drugim slovenskim jezicima.— In: Naučni sastanak u Vukove dane, № 7, Beograd, 1977.
13. Перельмутер И. А. Индоевропейский меди и рефлексив.— Вопросы языкознания, 1984, № 1.

Olga Martincová. *Problematika neologismů v současné spisovné češtině. Praha, 1983, 160 s.*

Ольга Мартинцова. *Проблематика неологизмов в современном литературном чешском языке*

Рецензируемая монография является результатом многолетних исследований О. Мартинцовой в области словообразования, сосредоточенных, в частности, на изучении неологизмов в славянских языках, прежде всего в чешском.

Актуальность темы, выбранной для исследования, не вызывает сомнений — это подтверждает тот большой интерес, который проявляют к данной проблематике ученые СССР, Польши, Чехословакии, Франции и ряда других стран. Современное языковое развитие характеризуется интенсивным притоком новой лексики, социальная потребность в которой обуславливается достижениями научно-техниче-

ского прогресса, изменениями в условиях языковой коммуникации и другими факторами. В связи с этим изучение способов образования неологизмов, их осмысление в свете существующих языковых закономерностей выдвигается в число первоочередных задач языкознания и, в частности, специальной его отрасли — неологии.

Монография О. Мартинцовой выполнена на большом фактическом материале современного чешского литературного языка, почерпнутого из словарей, лексикографического архива Института чешского языка ЧСАН и (что, на наш взгляд, очень важно) с привлечением собствен-

ных экскерпций автора из языка чешской прессы, охватывающих период с 1966 г. по настоящее время. Кроме того, часто привлекался и материал некоторых других славянских языков, например, русского и польского. Рассмотрение конкретного языкового материала О. Мартинцова предваряет изложением общетеоретических положений, составляющих авторскую концепцию. Особое внимание при этом уделяется таким вопросам, как определение сущности понятия «неологизм», установление критериев обособления неологизмов от остальной лексики языка. Заметим, что в решении этих и других вопросов между различными учеными имеются расхождения.

В основе методики исследования находится синхронный подход к языковым фактам, хотя, как отмечает О. Мартинцова, изучение неологизмов может проводиться как в синхронном, так и диахронном аспектах. В рамках синхронного рассмотрения неологизмы изучаются в генетическом и функциональном аспектах. Под генетическим аспектом (он занимает основное место в работе) понимается изучение возникновения (в рамках данного синхронного среза) новых обозначений; под функциональным — исследование использования неологизмов в словарном составе языка.

Следует, однако, отметить, что по мере необходимости синхронный подход дополняется подходом диахроническим. Это проявляется, в частности, в конфронтации различных срезов (в рамках современного хронологического периода) чешского литературного языка. Иногда проводилось сопоставление и с другими хронологическими периодами в истории чешского литературного языка (ср. отсылки к словарю Й. Юнгмана, относящегося к середине XIX в.).

Для понимания специфики авторской концепции также важно, что как образование, так и функционирование новых слов в работе рассматривается как следствие не только собственно языковых, но и внеязыковых (социальных и психологических) закономерностей. Книгу характеризует социолингвистический подход к фактам языка, учитывающий расслоение национального языка на отдельные формы его существования (в первую очередь на литературный и обиходно-разговорный языки), а также взаимодействие и интерференцию последних друг с другом. Заслуживает внимания вывод О. Мартинцовой о несовпадении темпов проникновения неологизмов в различные формы

существования национального языка (интенсивнее, к примеру, этот процесс протекает в обиходно-разговорной речи, чем в литературном языке), в различные стилистые пласты литературного языка.

В целом в основе теоретической концепции О. Мартинцовой находится теория номинации и словообразования, в разработку которой внес важный вклад чешский ученый М. Докулил. Учтены также достижения в разработке теории литературного языка, в частности, работы Б. Гавранека и А. Едлички. Принимаются во внимание также результаты неологических исследований советских, польских, чешских лингвистов.

В первой главе — «Современное состояние и освещение проблематики неологизмов в лингвистической литературе» — отмечается, в частности, что особенно большое внимание этой проблематике уделяется в советском и французском языкознании. Специальный раздел посвящен рассмотрению состояния изучения неологизмов в чехословацкой, советской и польской лингвистике. Анализируя литературу вопроса, автор выделяет основные ракурсы рассмотрения этой проблематики в различных лингвистических школах, общее и специфическое в постановке и методике решения этой проблемы. Так, в частности, О. Мартинцова отмечает, что различное понимание сущности неологизма, вычленения неологизмов из общего лексического состава объясняется тем, преобладает ли у исследователя синхронный или же диахронный подход. По мнению О. Мартинцовой, «с диахронной точки зрения неологизмами считают те новые единицы, которые отсутствуют в репертуаре словарного состава предшествующего периода. С синхронной точки зрения в качестве неологизмов выделяются новые лексические единицы, которые в свете существующих лексических норм имеют предпосылки стать единицами langue. Неологизмы в подобной интерпретации отличаются как от так называемых окказионализмов как новых единиц речи, так и от потенциальных слов, иллюстрирующих системные возможности языка, до сих пор не получивших словообразовательной реализации либо реализация которых осуществляется в рамках индивидуального коммуникативного акта» (с. 11).

В современной науке рассмотрение новообразований осуществляется в аспекте общей проблемы «язык и общество» — «язык и мышление». Указанному аспекту посвящается вторая глава книги — «Но-

вые наименования с точки зрения отношения языка и общества». Ссылаясь на работы А. Едлички, О. Мартинцова отмечает, что образование новой лексики находится в тесной взаимосвязи с такими социальными факторами, как условия современной общественной коммуникации и состав активных носителей литературного языка. Особое внимание, естественно, уделяется учету специфики чешской языковой ситуации.

Анализируя языковой материал, автор приходит к выводу о том, что включение новой лексики в состав литературного языка обуславливается не только потребностью в новых обозначениях, но и социальными факторами в широком смысле этого слова. Процесс включения новых элементов, особенно в сфере словообразования литературного языка, является процессом весьма длительным. О. Мартинцова подчеркивает необходимость особенно тщательного изучения той группы неологизмов, которые обуславливают эволюцию словарного состава языка, так как представляют собой варианты, конкурирующие элементы.

Третья глава книги — «Новые наименования в генетическом аспекте» — самая большая по объему привлекаемого языкового материала. Она, помимо установочной части, содержит три подраздела: 1) новые наименования типа «новое содержание — новая форма» (с внутренней рубрикой «материала в зависимости от типа ономастической категории, а также более дробной классификации производных слов по частям речи); 2) новые наименования типа «старая форма — новое содержание»; 3) новые наименования типа «новое словообразовательное оформление понятия, уже имеющего свое обозначение».

Изучение большого фактического материала позволяет автору прийти к ряду выводов общего и частного характера. Так, в частности, она заключает, что изучение неологизмов в генетическом аспекте показало, что в их создании основную роль играют средства словообразования. При этом прежде всего реализуются системные закономерности, соответствующие современной словообразовательной норме литературного чешского языка. Нередко отмечаются, однако, и явления несистемного характера. По наблюдению О. Мартинцовой, некоторые неологизмы образованы по таким словообразовательным моделям, которые отличаются от средств, допускаемых современной нормой литературного чешского языка, од-

нако в будущем могут изменить эту норму. Будучи вариантными единицами, такие неологизмы нарушают компактность и стабильность словообразовательных типов, сформировавшихся на более ранних этапах существования языка. Большое внимание уделяет автор такому перспективному языковому явлению, как универбизация. Детальному анализу подвергается использование собственно аффиксальной деривации, словосложения (последнее, кстати, весьма активизируется в современном чешском языке) и т.п. В работе содержится оценка степени продуктивности различных словообразовательных средств. Хорошо показана динамика словообразовательных типов, их перестройка в результате переосмысления значимости деривационных мотивировок. В работе делаются интересные выводы о словообразовательных тенденциях современного чешского языка, о формировании специфических терминологических деривационных систем (например, в публицистике¹). В поле зрения исследователя находятся также факты так называемых гибридных образований, сочетающих в своей структуре исконно чешские и заимствованные компоненты.

Четвертая глава — «Новые наименования в функциональном аспекте» — посвящена использованию неологизмов в языке, их функционированию в тексте. Автор отмечает, что правомерность функционального подхода обуславливается пониманием языка как средства социальной коммуникации.

Книгу завершают главы «Лексические неологизмы в современном литературном чешском языке» и «Новые окказиональные наименования». В последней главе предметом изучения являются неологизмы, находящиеся на периферии языковой системы, где, собственно, и формируются потенциальные словообразовательные тенденции; ср., например, периферийные дериваты с суффиксами *-iáda*, *-uga* (*klauniáda*, *doktorantura*) и т.п. Значительное внимание уделяется оппозиции «признаковость — непризнаковость» у новых обозначений. О. Мартинцова констатирует, что в большинстве случаев к неологизмам относятся такие наименования, которые по своей форме выделяются из

¹ Очевидно, небезынтересно было бы сравнить имеющийся в монографии материал с данными по языку современной польской прессы, содержащимися в исследовании: Zagrodnikowa A. Nowe wyrazy i wyrażenia w prasie. Kraków, 1982.

общего лексического состава и являются необычными для носителя языка.

Книга О. Мартинцовой, несомненно, вызовет большой интерес у читателя. Залогом этого является не только коллекция языковых фактов, многие из которых не фиксируются словарями современного чешского литературного языка. Заслуживают внимания анализ и систематизация выявленных неологизмов, новые ракурсы в рассмотрении проблематики, в частности, широкий учет социолингвистических факторов. Не во всех случаях, конечно, предлагаемая автором интерпретация является бесспорной. Так, например, можно оспаривать квалификацию лексем с компонентами греческого происхождения -graf, -metr, -skop как словосложе-

ний. Не представляется нам удачным термин «полуморфема» (в данном случае не является существенным, предлагается ли данный термин и его интерпретация самой О. Мартинцовой либо заимствуется ею у других авторов), тем более в отношении к компонентам mikro-, mini-. Можно сомневаться в словообразовательной интерпретации отдельных слов, например, в выделении суффикса -čka в случае madrace — madračka и т.п. Однако наличие таких спорных моментов отнюдь не снижает общей ценности работы, ее значимости для дальнейших исследований в области словообразования и социолингвистики.

Нещименко Г.



ЮБИЛЕЙНЫЕ ЧТЕНИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ 70-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ Л. Б. ВАЛЕВА

11 декабря 1985 г. в Институте славяноведения и балканистики АН СССР состоялись чтения, посвященные 70-летию со дня рождения Л. Б. Валева. На это мероприятие собрались коллеги, ученики, друзья и близкие видного советского болгариста.

Открыл чтения д-р ист. наук В. В. Зеленин, заведующий сектором истории народно-демократических революций и строительства социализма в странах Центральной и Юго-Восточной Европы, у истоков создания которого стоял Л. Б. Валева и которым он руководил более четверти века, до конца своей жизни.

С докладом о жизненном и творческом пути Любомира Борисовича выступила канд. ист. наук Т. В. Волокитина. Она подробно остановилась на становлении Л. Б. Валева как историка, его вкладе в науку, в подготовку кадров советских болгаристов, славистов, а также в укрепление советско-болгарской дружбы.

Сотрудник Института экономики мировой социалистической системы АН СССР канд. ист. наук Ю. Ф. Зудинов предложил вниманию присутствующих очень интересный доклад «Развитие политической системы НРБ на современ-

ном этапе», в котором он охарактеризовал основные направления политического развития болгарского общества в настоящее время.

Болгарский ученый, сотрудник Института истории БАН канд. ист. наук Б. Матеев осветил огромный вклад Л. Б. Валева в развитие научных контактов между НРБ и СССР.

Большой интерес аудитории вызвало выступление канд. ист. наук Г. М. Славина, посвященное неопубликованным воспоминаниям Л. Б. Валева, в частности, о работе на радиостанции болгарского народно-освободительного антифашистского движения «Христо Ботев», которая в годы войны вела передачи с территории СССР.

Д-р ист. наук Р. П. Гришина в своем выступлении особо остановилась на роли Л. Б. Валева в формировании нескольких поколений историков-болгаристов. Р. П. Гришина внесла предложение сделать эти чтения периодическими, придать им характер научных симпозиумов, расширить географию их участников до масштабов страны. Это предложение получило горячую поддержку присутствующих.

Т. М.

24 мая 1985 г. в Институте славяноведения и балканистики АН СССР состоялось рабочее совещание по обсуждению выпуска — «Этнолингвистический словарь славянских древностей. Проект словника. Предварительные материалы» (Москва, 1984). Это издание отражает начальный этап работы над ЭССД, подготавливаемым Сектором этнолингвистики и фольклора. Выпуск содержит проект словника (около 1500 словарных статей) с приложением его тематического индекса, обзор источников, использованных при подготовке словника, обзор принципов его составления (в том числе образцы частных словников по темам «Святки», «Свадьба» и «Календарь»), обзор библиографического аппарата словаря, библиографию основных периодических и серийных изданий по традиционной народной культуре славян, а также шесть пробных статей: «„Борода“» О. А. Терновской, «Дежа» А. Л. Топоркова, «Диалог-ритуал» Н. И. Толстого, «Заяц» А. В. Гуры, «Игры фольклорные» И. А. Морозова и «„Слава“» А. А. Плотикиной.

Участники обсуждения отметили, что авторами пробного выпуска словаря при подготовке и составлении словника было проработано огромное количество публикаций, полевых и архивных материалов, что позволило им, по существу, выявить понятийную структуру славянской духовной культуры. Этим и объясняется то внимание и интерес, с которым был встречен пробный выпуск лингвистами, фольклористами и этнографами.

Со вступительным словом к участникам совещания обратился чл.-корр. АН СССР заведующий Сектором этнолингвистики и фольклора Н. И. Толстой.

Обсуждение открыл В. В. Мартынов (Минск), который остановился на сопоставлении концепции ЭССД с существующими этимологическими словарями и «реалексиконами». По его мнению, в ЭССД задача реконструкции элементов древней культуры может быть решена наиболее полным образом. Было также высказано предположение, что словарь такого типа будет чрезвычайно полезен и для этимологических исследований. В качестве примера того,

как знание сакральной семантики того или иного слова позволяет по-новому поставить вопрос о его происхождении, была рассмотрена этимология славянского * *kočunъ*.

С. Е. Никитина (Москва) отметила, что ЭССД должен быть словарем не реалий, а понятий, восстанавливающим некоторые глубинные ситуации славянской духовной культуры, и в этом смысле словарь должен идти одновременно и от слова и от вещи. Этим объясняется сочетание в словнике традиционных (т. е. в собственном смысле «народных», терминов и терминов метаязыка этнолингвистики. По мнению С. Е. Никитиной, параллельно с подготовкой словарных статей целесообразно продолжить работу над их классификацией, над делением всего материала словника по разным основаниям. В идеале схема словарной статьи должна представлять собой своего рода анкету, заполненную для того или иного слова (реалии). Понятийная структура статьи должна задаваться самим классом понятия. Поэтому хотя каждая из предложенных в пробном выпуске статей и интересна сама по себе, вместе они не вполне отвечают задачам словаря, ибо практически не сопоставимы друг с другом структурно.

В выступлении О. А. Черепановой (Ленинград) прозвучала мысль о том, что ЭССД — в том виде, в каком он представлен в пробном выпуске, — по своему типу является скорее антологией славянской духовной культуры, т. е. сборником изысканий по упорядоченной системе. Если же мыслить это издание именно как словарь, необходимо продумать еще ряд понятий и, в частности, решить немаловажный вопрос о том, как избежать сложностей при поиске в словаре того или иного слова (например, названий демонологических персонажей). О. А. Черепанова предложила также разработать систему типов словарных статей, выработать «сетку», по которой строились бы статьи разных типов, и наметить соответствующую им рубрикацию, а также продумать единую форму подачи и документации материала, систему отсылок, сокращений и помет.

Г. А. Цыхун (Минск) отметил, что за-

мыслы ЭССД имеет в первую очередь лингвистические стимулы, ибо лингвистика и, в особенности, этимология нуждаются в таком словаре не меньше, чем этнография. Говоря о важности лингвогеографического аспекта, Г. А. Цыхун обратил внимание на то, что в словаре на первый план будут выдвинуты именно общеславянские явления. По его мнению, уже в пробных статьях видны центр и периферия бытования некоторых явлений духовной культуры, что приближает к решению проблемы установления исходного центра их распространения.

А. Н. Анфертьев (Ленинград) считает, что готовящееся издание недостаточно лингвистично для того, чтобы называться «этнолингвистическим словарем»; по его мнению, оно ближе к «энциклопедии фольклора, или народных древностей». А. Н. Анфертьев отметил также, что положенный в основу словаря материал не всегда сопоставим хронологически: это и «живая старина» по данным XIX—XX вв., и средневековые источники, и книжная культура. В связи с этим А. Н. Анфертьев предостерег авторов словаря от «удревления» данных народной традиции, которые могут восходить не только к праславянской эпохе, а, например, к византийскому или книжному влиянию.

По мнению А. Л. Топоркова (Ленинград) словарь должен явиться логическим продолжением того, что уже сделано в славянской этнографии по изучению

духовной культуры славян. Поэтому следовало бы более внимательно относиться к сводным этнографическим работам, причем не как к источникам материала, а как к исследованиям, уже обобщившим его. А. Л. Топорков предложил также опубликовать в первом томе словаря избранную библиографию славянских этнографических библиографий.

А. Ф. Журавлев (Москва) высказался за то, чтобы усилить справочный аппарат словаря и внес ряд конкретных предложений по составу словника.

А. Б. Страхов (Москва) сказал, что работа над ЭССД предполагает, в частности, решение вопросов реконструкции отдельных элементов славянской духовной культуры. И в связи с этим, по его мнению, полный отказ от внешних (неславянских) сравнений неправомерен. В качестве примера в выступлении была предложена интерпретация определенного круга поверий о зайце, учитывающая индоевропейский материал и уточняющая целый ряд положений пробной статьи А. В. Гуры «Заяц».

В обсуждении приняли участие также Н. П. Антропов (Минск), К. Е. Корепова (Горький), С. В. Жарникова (Вологда); были оглашены письменные отзывы на пробный выпуск Т. А. Бернштам и И. Г. Левина (оба — Ленинград) и др.

В заключительном слове Н. И. Толстой поблагодарил участников обсуждения за конструктивные и четкие выступления.

Гапкина Т. А.

IV СИМПОЗИУМ ПО БЕЛОРУССКО-БОЛГАРСКИМ ЯЗЫКОВЫМ ПАРАЛЛЕЛЯМ

В соответствии с Договором о научном сотрудничестве между Белорусским государственным университетом имени В. И. Ленина и Софийским университетом имени Климента Охридского с 7 по 9 октября 1985 г. в Софии состоялся IV симпозиум по сопоставительному исследованию белорусского и болгарского языков. Для обсуждения были представлены 30 докладов советских и болгарских лингвистов, вызвавшие оживленную дискуссию. Кроме университетских работников Минска и Софии, в симпозиуме приняли участие преподаватели Пловдивского и Великотырновского университетов, а

также сотрудники академических учреждений обеих стран (в том числе Института языкознания АН БССР, Института славяноведения и балканистики АН СССР, Института болгарского языка Болгарской академии наук и др.).

Профессор С. Иванчев (Софийский ун-т) в своем вступительном слове говорил о традициях и достижениях болгарских лингвистов в области сопоставительного изучения белорусского и болгарского языков.

Первый рабочий день был посвящен теме кирилло-мефодиевского наследия в современных славянских языках. Эта

проблематика раскрывалась в докладах советских ученых: А. Е. Супруна — «Неполногласная лексика в современном белорусском языке»; Г. А. Цыхуна — «Архаичная славянская лексика в белорусских говорах» и болгарских специалистов: П. Филковой — «Основные типы заимствований из древнеболгарского и церковнославянского в современном русском и белорусском языках»; М. Младеновой — «Элементы кирилло-мефодиевской традиции в белорусском литературном языке». Общей для указанных докладов была мысль о том, что наследование древних языковых черт в каждом из славянских языков имело свои особенности в соответствии с закономерностями формирования литературной нормы.

Частные аспекты развития и взаимодействия славянских языков обсуждались в докладах болгарских участников симпозиума Н. Ивановой — «Параллели в истории болгарского и белорусского литературных языков при переходе от средневековья к национальному периоду» и С. Иванова — «Об одном аспекте изучения языка древних славянских рукописей». С советской стороны были представлены для обсуждения следующие доклады с исторической тематикой: Н. А. Павленко — «Из наблюдений над словообразованием фемининативов на *-иц-а*, *-ъниц-а* в старославянском и старобелорусском языках», Е. И. Янович — «Кириллическая азбука и белорусский письменно-литературный язык нового периода», Н. Б. Мечковской — «Традиции Тырновской школы и восточнославянские грамматические сочинения XVI—XVII вв.», В. В. Мартынова — «Об одной ареально нетипичной русско-белорусско-болгарской изолексе», М. А. Муталимовой — «Семантико-стилистический анализ оценочных слов в древних славянских памятниках» и Я. Л. Трёмбовольского — «Кто был автором „О писменех чрьноризца Храбра“?».

Значительная часть докладов была посвящена сопоставительному анализу грамматического строя современных славянских языков. Доклад Л. Лашковой (Софийский ун-т) назывался «К вопросу о выражении темпоральности в болгарском и белорусском языках». Доклад И. Куцарова из Пловдивского университета был посвящен умозаключительным глагольным формам в современном болгарском языке и средствам их передачи в белорусском. Тема доклада И. Гугулановой (Софийский ун-т) — «Выражение категории „лицо“ в болгарском и бело-

русском языках». В докладе Б. Ю. Нормана (БГУ) шла речь об особенностях грамматической структуры родного славянского языка, влияющих на восприятие инославянского текста. Я. Бычваров (Софийский ун-т) в своем докладе «Некоторые проблемы структуры текста в болгарском и белорусском языках» представил классификацию текстосвязующих средств — коннекторов. В нескольких докладах затрагивались проблемы синтаксической семантики: в исследованиях Т. Дунковой (Софийский ун-т) — «Выражение посессивности в болгарском и белорусском языках», А. Поповой (Софийский ун-т) — «Предикат и структурная специфика болгарского языка (на фоне сравнения с белорусским)» и В. А. Карпова (БГУ) — «Сравнительный анализ некоторых двухэлементных структур в болгарском и восточнославянских языках».

Большой интерес участников симпозиума вызвало исследование параллелей в лексике и фразеологии сопоставляемых языков. Д. Станишева (Софийский ун-т) в своем докладе остановилась на семантическом развитии глаголов движения (*идти*, *ехать*) в истории белорусского и болгарского языков. Доклад А. М. Калюты (БГУ) был посвящен характерным особенностям национальных культур, проявляющимся в ассоциативном (психолингвистическом) эксперименте. Тема доклада Л. Р. Супрун (БГУ) — «Метеорологическая лексика в белорусском и болгарском языках». С. Стойчев (Софийский ун-т) избрал предметом своего исследования специфическую лексику болгарского и белорусского языков, не встречающуюся за пределами фразеологизмов.

Два доклада были посвящены проблемам синхронного словообразования — «Агентивные существительные с суффиксом *-тел* / *-цель* в болгарском и белорусском литературных языках» С. Богдановой (Софийский ун-т) и «О синонимических связях болгарских и белорусских прилагательных со значением ослабленности признака» С. К. Яцьно (БГУ). Один доклад основывался на фонетическом материале: В. Б. Журавель — «К сопоставительной характеристике ударного вокализма белорусского и болгарского языков» (БГУ).

Участники симпозиума выразили удовлетворение ходом совместных научных исследований и наметили программу дальнейшей работы.

Норман Б. Ю.

*В магазинах «Академкнига»
имеются в продаже:*

Марков Д. Ф.

ИЗ ИСТОРИИ БОЛГАРСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.

1973. 398 с. 1 р. 43 к.

В сборник включены работы автора, написанные в 1949—1971 гг. В книге рассматривается развитие прозы, поэзии, драматургии в Болгарии XIX—XX вв.; дается характеристика различных литературных течений. Автор рассказывает о творчестве крупнейших болгарских писателей — Христо Ботева, Ивана Вазова, Елина-Целина, Николы Вапцарова и др. В ряде статей («Горький и болгарская литература», «Маяковский и революционная поэзия Болгарии» и др.) говорится о связях между двумя братскими славянскими литературами.

Издание рассчитано не только на специалистов-филологов, но и на широкий круг читателей.

Путилов Б. Н.

ГЕРОИЧЕСКИЙ ЭПОС ЧЕРНОГОРЦЕВ.

1982. 239 с. 1 р. 70 к.

Монография посвящена изучению героического эпоса черногорцев конца XVII — начала XX в. Исследуются сюжеты, персонажи, характер историзма, выявляются основные типологические особенности, специфика связи эпоса с исторической действительностью и с борьбой черногорского народа за независимость, прослеживаются преемственность и характер переработки эпического наследия. В связи с анализом пробуждения и укрепления в черногорских песнях национального сознания рассмотрены русская тема в эпосе, отражение в песнях исторических связей России и Черногории в XVIII—XIX вв.

Книга предназначена для этнографов, фольклористов, историков.

**Заказы на книги направляйте по одному из адресов магазинов
«Книга — почтой» «Академкнига»:**

117192 Москва, В-192, Мичуринский проспект, 12;

197345 Ленинград, Петрозаводская ул., 7;

252030 Киев, ул. Пирогова, 4;

630090 Новосибирск, Академгородок, Морской проспект, 22.